Волшебная гора

Автор:
Томас Манн

Волшебная гора

Томас Манн

«Волшебная гора» – туберкулезный санаторий в Швейцарских Альпах. Его обитатели вынуждены находиться здесь годами, общаясь с внешним миром лишь редкими письмами и телеграммами. Здесь время течет незаметно, жизнь и смерть утрачивают смысл, а мельчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают болезненную остроту и значимость. Любовь, веселье, дружба, вражда, ревность для обитателей санатория словно отмечены тенью небытия… Эта история имеет множество возможных прочтений – мощнейшее философское исследование жизненных основ, тонкий психологический анализ разных типов человеческого характера, отношений, погружение в историю культуры, религии и в историю вообще – Манн изобразил общество в канун Первой мировой войны.

Томас Манн

Волшебная гора

Thomas Mann

DER ZAUBERBERG

© S.Fischer Verlag AG, Berlin, 1924

© Перевод. В. Станевич, наследники, 2015

© Перевод. В. Курелла, наследники, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Вступление

История Ганса Касторпа, которую мы хотим здесь рассказать, – отнюдь не ради него (поскольку читатель в его лице познакомится лишь с самым обыкновенным, хотя и приятным молодым человеком), – излагается ради самой этой истории, ибо она кажется нам в высокой степени достойной описания (причем, к чести Ганса Касторпа, следует отметить, что это именно его история, а ведь не с любым и каждым человеком может случиться история). Так вот: эта история произошла много времени назад, она, так сказать, уже покрылась благородной ржавчиной старины, и повествование о ней должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего.

Для истории это не такой уж большой недостаток, скорее даже преимущество, ибо любая история должна быть прошлым, и чем более она – прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории и для рассказчика, который бормочет свои заклинания над прошедшими временами; однако приходится признать, что она, так же как в нашу эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старее своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее годов – не числом обращений Земли вокруг Солнца; словом, она обязана степенью своей давности не самому времени; отметим, что в этих словах мы даем мимоходом намек и указание на сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем.

Однако, не желая искусственно затемнять вопрос, по существу совершенно ясный, скажем следующее: особая давность нашей истории зависит еще и от того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом, глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание… Она происходит, или, чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила, произошла некогда, когда-то, в

стародавние времена, в дни перед великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться. Итак, она происходит перед тем поворотом, правда незадолго до него; но разве характер давности какой-нибудь истории не становится тем глубже, совершеннее и сказочнее, чем ближе она к этому «перед тем»? Кроме того, наша история, быть может, и по своей внутренней природе не лишена некоторой связи со сказкой.

Мы будем описывать ее во всех подробностях; точно и обстоятельно, – ибо когда же время при изложении какой-нибудь истории летело или тянулось по подсказке пространства и времени, которые нужны для ее развертывания? Не опасаясь упрека в педантизме, мы скорее склонны утверждать, что лишь основательность может быть занимательной.

Следовательно, одним махом рассказчик с историей Ганса не справится. Семи дней недели на нее не хватит, не хватит и семи месяцев. Самое лучшее – и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. Семи лет, даст Бог, все же не понадобится.

Итак, мы начинаем.

Глава первая

Приезд

В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на три недели – погостить.

Из Гамбурга в Давос – путь не близкий, и даже очень не близкий, если едешь на столь короткий срок. Путь этот ведет через несколько самостоятельных земель, то вверх, то вниз. С южногерманского плоскогорья нужно спуститься на берег Швабского моря, потом плыть пароходом по его вздымающимся волнам, над

безднами, которые долго считались неисследимыми.

Однако затем путешествие, которое началось с большим размахом и шло по прямым линиям, становится прерывистым, с частыми остановками и всякими сложностями: в местечке Роршах, уже на швейцарской территории, снова садишься в поезд, но доезжаешь только до Ландкварта, маленькой альпийской станции, где опять надо пересаживаться. После довольно продолжительного ожидания в малопривлекательной ветреной местности вам наконец подают вагоны узкоколейки, и только с той минуты, когда трогается маленький, но, видимо, чрезвычайно мощный паровозик, начинается захватывающая часть поездки, упорный и крутой подъем, которому словно конца нет, ибо станция Ландкварт находится на сравнительно небольшой высоте, но за ней подъем идет по рвущейся ввысь, дикой, скалистой дороге в суровые высокогорные области.

Ганс Касторп – так зовут молодого человека – с его ручным чемоданчиком из крокодиловой кожи, подарком дяди и воспитателя – консула Тинапеля, которого мы сразу же и назовем, – Ганс Касторп, с его портпледом и зимним пальто, мотающимся на крючке, был один в маленьком, обитом серым сукном купе; он сидел у окна, и так как воздух становился к вечеру все свежее, а молодой человек был баловнем семьи и неженкой, он поднял воротник широкого модного пальто из шелковистой ткани. Рядом с ним на диване лежала книжка в бумажной обложке – «Ocean steamships»[1 - «Океанские пароходы» (англ.).], которую он в начале путешествия время от времени изучал; но теперь она лежала забытая, а паровоз, чье тяжелое хриплое дыхание врывалось в окно, осыпал его пальто угольной пылью.

Два дня пути уже успели отдалить этого человека, к тому же молодого, – а молодой еще не крепко сидит корнями в жизни, – от привычного мира, от всего, что он считал своими обязанностями, интересами, заботами, надеждами, – отдалить его гораздо больше, чем он, вероятно, мог себе представить, когда ехал в наемном экипаже на вокзал. Пространство, которое переваливалось с боку на бок между ним и родным домом, кружилось и убегало, таило в себе силы, обычно приписываемые времени; с каждым часом оно вызывало все новые внутренние изменения, чрезвычайно сходные с теми, что создает время, но в некотором роде более значительные. Подобно времени, пространство рождает забвение; оно достигает этого, освобождая человека от привычных связей с повседневностью, перенося его в некое первоначальное, вольное состояние, и даже педанта и обывателя способно вдруг превратить в бродягу. Говорят, что

время – Лета; но и воздух дали – такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато – быстрее.

Нечто подобное испытывал и Ганс Касторп. Он вовсе не собирался придавать своей поездке особое значение, внутренне ожидать от нее чего-то. Напротив, он считал, что надо поскорее от нее отделаться, раз уж иначе нельзя, и, вернувшись совершенно таким же, каким уехал, продолжать обычную жизнь с того места, на котором он на мгновение прервал ее. Еще вчера он был поглощен привычным кругом мыслей – о только что отошедших в прошлое экзаменах, о предстоящем в ближайшем будущем поступлении практикантом к «Тундеру и Вильмсу» (судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские) и желал одного – чтобы эти три недели прошли как можно скорее, – желал со всем нетерпением, на какое, при своей уравновешенной натуре, был способен. Но теперь ему начинало казаться, что обстоятельства требуют его полного внимания и что, пожалуй, не следует относиться к ним так уж легко. Это возношение в области, воздухом которых он еще никогда не дышал и где, как ему было известно, условия для жизни необычайно суровы и скудны, начинало его волновать, вызывая даже некоторый страх. Родина и привычный строй жизни остались не только далеко позади, главное – они лежали где-то глубоко внизу под ним, а он продолжал возноситься. И вот, паря между ними и неведомым, он спрашивал себя, что ждет его там, наверху. Может быть, это неразумно и даже повредит ему, если он, рожденный и привыкший дышать на высоте всего лишь нескольких метров над уровнем моря, сразу же поднимется в совершенно чуждые ему области, не пожив предварительно хоть несколько дней где-нибудь не так высоко? Ему уже хотелось поскорее добраться до места: ведь когда очутишься там, то начнешь жить, как живешь везде, и это карабканье вверх не будет каждую минуту напоминать тебе, в сколь необычные сферы ты затесался. Он выглянул в окно: поезд полз, извиваясь по узкой расселине; были видны передние вагоны и паровоз, который, усиленно трудясь, то и дело выбрасывал клубы зеленого, бурого и черного дыма, и они потом таяли в воздухе. Справа, внизу, шумели воды; слева темные пихты, росшие между глыбами скал, тянулись к каменно-серому небу. Временами попадались черные туннели, и когда поезд опять выскакивал на свет, внизу распахивались огромные пропасти, в глубине которых лежали селения. Потом они снова скрывались, опять следовали теснины с остатками снега в складках и щелях. Поезд останавливался перед убогими вокзальчиками и на конечных станциях, от которых отходил затем в противоположном направлении; тогда все путалось, и трудно было понять, в какую же сторону ты едешь и где какая страна света. Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга вершин, и тебя несло к ним,

между ними, они то открывались почтительному взору, то снова исчезали за поворотом. Ганс Касторп вспомнил, что область лиственных лесов уже осталась позади, а с нею, вероятно, и зона певчих птиц, и от мысли об этом замирании и оскудении жизни у него вдруг закружилась голова и ему стало не по себе; он даже прикрыл глаза рукой. Но дурнота тут же прошла. Он увидел, что подъем окончен, – перевал был преодолен. И тем спокойнее поезд побежал по горной долине.

Было около восьми часов вечера, и сумерки еще не наступили. Вдали открылось озеро, его воды казались стальными, черные пихтовые леса поднимались по окружавшим его горным склонам; чем выше, тем заметнее леса редели, потом исчезали совсем, и глаз встречал только нагие, мглистые скалы.

Поезд остановился у маленькой станции, – это была Давос-деревня, – Ганс Касторп услышал, как на платформе выкрикнули название: он был почти у цели. И вдруг совсем рядом раздался голос его двоюродного брата Иоахима Цимсена, и этот неторопливый гамбургский голос проговорил:

– Ну здравствуй! Что же ты не выходишь? – И когда Ганс высунулся в окно, под окном, на перроне, оказался сам Иоахим, в коричневом демисезонном пальто, без шляпы, и вид у него был просто цветущий. Иоахим рассмеялся и повторил: – Вылезай, не стесняйся!

– Я же еще не доехал, – растерянно проговорил Ганс Касторп, не вставая.

– Нет, доехал. Это деревня. До санатория отсюда ближе. У меня тут экипаж. Давай-ка свои вещи.

Тогда, взволнованный приездом и свиданием, Ганс Касторп смущенно засмеялся и передал ему в окно чемодан, зимнее пальто, портплед с зонтом и тростью и даже книгу «Ocean steamships». Затем пробежал по узкому коридору и спрыгнул на платформу, чтобы, так сказать, самолично приветствовать двоюродного брата, причем поздоровались они без особой чувствительности, как и полагается людям сдержанным и благовоспитанным. Почему-то они всегда избегали называть друг друга по имени, боясь больше всего на свете выказать излишнее душевное тепло. Однако называть друг друга по фамилии было бы нелепо, и они ограничивались простым «ты». Эго давно вошло у них в привычку.

Неподалеку стоял человек в ливрее и фуражке с галунами, наблюдая за тем, как они торопливо и несколько смущенно пожимают друг другу руку, причем молодой Цимсен держался совсем по-военному; затем человек этот подошел к ним и попросил у Ганса Касторпа его багажную квитанцию, – это был портье из интернационального санатория «Берггоф»; он сказал, что получит большой чемодан приезжего на станции «Курорт», а экипаж доставит господ прямо в санаторий, они как раз поспеют к ужину. Портье сильно хромал, и первый вопрос, с каким Ганс Касторп обратился к двоюродному брату, был:

– Он что – ветеран войны? Почему он так хромает?

– Ну да! Ветеран войны! – с некоторой горечью отозвался Иоахим. – Это болезнь сидит у него в коленке, или, верней, сидела, ему потом вынули коленную чашку.

Ганс Касторп понял свою оплошность.

– Ах так! – поспешно сказал он, не останавливаясь, поднял голову и бросил вокруг себя беглый взгляд. – Ты же не станешь уверять меня, что у тебя еще не все прошло? Выглядишь ты, будто уже получил офицерский темляк и только что вернулся с маневров. – И он искоса посмотрел на двоюродного брата.

Иоахим был выше и шире в плечах, чем Ганс Касторп, и казался воплощением юношеской силы, прямо созданным для военного мундира. Молодой Цимсен принадлежал к тому типу темных шатенов, которые встречаются нередко на его белокурой родине, а и без того смуглое лицо стало от загара почти бронзовым. У него были большие черные глаза, темные усики оттеняли полные, красиво очерченные губы, и он мог бы считаться красавцем, если бы не торчащие уши. До известного момента его жизни эти уши были его единственным горем и заботой. Теперь у него было достаточно других забот. Ганс Касторп продолжал:

– Ты ведь потом вместе со мной вернешься вниз? Не вижу, почему бы тебе не вернуться…

– Вместе с тобой? – удивился Иоахим и обратил к нему свои большие глаза, в которых и раньше была какая-то особая мягкость, а теперь, за минувшие пять месяцев, появилась усталость и даже печаль. – Когда это – вместе с тобой?

– Ну, через три недели?

– Ах так, ты мысленно уже возвращаешься домой, – заметил Иоахим. – Но ведь ты еще только приехал. Правда, три недели для нас здесь наверху – это почти ничто. Но ты-то явился в гости и пробудешь всего-навсего три недели, для тебя это очень большой срок! Попробуй тут акклиматизироваться, что совсем не так легко, должен тебе заметить. И потом – дело не только в климате: тебя ждет здесь немало нового, имей в виду. Что касается меня, то дело обстоит вовсе не так весело, как тебе кажется, и насчет того, чтобы «через три недели вернуться домой», это, знаешь ли, одна из ваших фантазий там, внизу. Я, правда, загорел, но загар мой главным образом снежный, и обольщаться им не приходится, как нам постоянно твердит Беренс; а когда было последнее общее обследование, то он заявил, что еще полгодика мне уж наверняка здесь придется просидеть.

– Полгода? Ты в своем уме? – воскликнул Ганс Касторп. Они вышли из здания станции, вернее – просто сарая, и уселись в желтый кабриолет, ожидавший их на каменистой площадке; когда гнедые тронули, Ганс Касторп возмущенно задвигался на жестких подушках сиденья. – Полгода? Ты и так здесь уже почти полгода! Разве можно терять столько времени!..

– Да, время, – задумчиво проговорил Иоахим; он несколько раз кивнул, глядя перед собой и словно не замечая искреннего возмущения двоюродного брата. – До чего тут бесцеремонно обращаются с человеческим временем – просто диву даешься. Три недели для них – все равно что один день. Да ты сам увидишь. Ты все это еще сам узнаешь… – И добавил: – Поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе.

Ганс Касторп незаметно продолжал наблюдать за ним.

– Но ведь ты все-таки замечательно поправился, – возразил он, качнув головой.

– Разве? Впрочем, я ведь тоже так считаю, – согласился Иоахим и, выпрямившись, откинулся на спинку сиденья; однако опять сполз и сел боком. – Конечно, мне лучше, – продолжал он, – но окончательно я еще не выздоровел. В верхней части левого легкого, где раньше были хрипы, теперь только жесткое дыхание, это не так уж плохо, но внизу дыхание еще очень жесткое, есть сухие хрипы и во втором межреберном пространстве.

– Какой ты стал ученый, – заметил Ганс Касторп.

– Нечего сказать, приятная ученость! Как мне хотелось бы вместо санатория очутиться в армии и вытряхнуть всю эту ученость из головы, – ответил Иоахим. – А потом у меня все еще появляется мокрота, – он небрежно и раздраженно передернул плечами – новый для него жест, который ему не шел, – затем из бокового кармана вытащил до половины некий предмет, показал кузену и тут же спрятал; это была плоская, слегка изогнутая фляжка синего стекла с металлической крышкой. – Такие штуки носит с собой большинство из нас здесь наверху, – пояснил он. – И прозвище ей дали весьма остроумное. А на пейзаж ты обратил внимание?

Ганс Касторп и так смотрел во все глаза.

– Замечательно, – сказал он.

– В самом деле? – спросил Иоахим.

Оставив за собой неравномерно застроенную длинную улицу, которая тянулась вдоль узкоколейки, они свернули влево, переехали через полотно железной дороги, через мост над потоком, и экипаж стал подниматься в гору по отлогому шоссе, навстречу лесистым склонам. Там, на поросшей травою площадке, немного выше курорта, стояло длинное здание, обращенное фасадом на юго-запад, с увенчанной куполом башенкой и множеством балкончиков, благодаря чему оно издали напоминало пористую губку со множеством ячеек; в этом здании уже вспыхивали вечерние огни. Быстро надвигались сумерки. Легкое сияние зари, ненадолго оживившее затянутое тучами небо, уже угасло, и природа погрузилась в то переходное состояние – тусклое, мертвенное и печальное, – которое предшествует окончательному наступлению ночи.

Длинная, слегка изгибавшаяся между гор долина с ее селениями теперь тоже повсюду осветилась, и не только она: местами загорелись огни и на обоих ее склонах – на правом, крутом, где террасами поднимались строения, и на левом, покрытом лугами, по которому разбегались тропинки, терявшиеся в плотной черноте хвойных лесов. Далекие кулисы гор там, где долина сужалась, были окрашены в синевато-серый цвет. Поднялся ветер, вечерний холодок давал себя знать.

– Нет, говоря по правде, я не нахожу все это уж таким потрясающим, – заметил Ганс Касторп. – А где же у вас тут глетчеры, фирны, мощные горные гиганты?

Эти вершинки вон там, по-моему, не бог весть как высоки.

– Нет, они высокие, – возразил Иоахим. – Видишь, где проходит граница лесов? Она почти всюду очень отчетлива, там кончаются ели, а с ними кончается все и уже ничего нет, только скалы, как ты, вероятно, заметил. Видишь, справа от Шварцхорна – высокий зубец? Там есть даже глетчер! Вон то, синее… Он не велик, но это настоящий глетчер, все как полагается, глетчер Скалетта. А там – Пиц Мишель и Тинценхорн, отсюда их не видно, они всегда покрыты снегом, круглый год.

– Вечным снегом, – проговорил Ганс Касторп.

– Да, если хочешь, вечным. Все эти горы, конечно, очень высоки. Но ты подумай, ведь мы сами находимся отчаянно высоко. Тысяча шестьсот метров над уровнем моря. Поэтому мы их высоты и не замечаем.

– Да, ну и лезли же мы сегодня вверх! Признаюсь, меня прямо жуть брала! Тысяча шестьсот метров! Это приблизительно пять тысяч футов, если не ошибаюсь. В жизни своей не был на такой высоте. – И Ганс Касторп с любопытством глубоко вдохнул в себя чуждый ему воздух. Он был свеж – и только. В нем не хватало ароматов, содержания, влаги, он легко входил в легкие и ничего не говорил душе.

– Превосходно! – заметил он из вежливости.

– Да, воздух тут знаменитый. Впрочем, местность показывает себя сегодня вечером не с лучшей стороны. Иногда все видно гораздо яснее, особенно при снеге. Но в конце концов эти пейзажи быстро надоедают. Нам всем здесь наверху они ужасно надоели, можешь мне поверить, – закончил Иоахим, и его губы скривились гримасой отвращения. У Ганса Касторпа невольно возникло чувство, что Цимсен преувеличивает, не владеет своим раздражением, – что было опять-таки на него не похоже.

– Как странно ты говоришь, – заметил Ганс Касторп.

– Разве я говорю странно? – спросил Иоахим с некоторой тревогой и повернулся к двоюродному брату…

– Нет, нет, прости, это только так, минутное впечатление! – поспешил заверить его Ганс Касторп. Он имел в виду выражение Иоахима «нам здесь наверху», ибо тот употребил его уже два или три раза; оно-то и казалось Гансу Касторпу странным, чем-то пугало и вместе с тем манило.

– Как видишь, наш санаторий расположен выше курорта, – продолжал Иоахим. – На пятьдесят метров. В проспекте сказано сто, но на самом деле всего на пятьдесят. Выше всех стоит санаторий «Шацальп», – в той стороне, отсюда не видно. Зимой им приходится спускать свои трупы на бобслеях, так как дороги становятся непроходимыми.

– Свои трупы? Ах да! Но послушай, – воскликнул было Ганс Касторп. И вдруг им овладел смех, бурный, неудержимый смех; этот смех так потряс его грудную клетку, что несколько одеревеневшее от резкого ветра лицо молодого человека даже скривилось болезненной гримасой. – На бобслеях! И ты об этом рассказываешь совершенно спокойно? Ну, знаешь, за эти пять месяцев ты стал прямо циником!

– И вовсе не циником, – возразил Иоахим, пожав плечами. – Почему? Ведь трупам все равно… Впрочем, может быть, здесь у нас и становятся циниками. Сам Беренс – настоящий старый циник, а кроме того, чудесный малый, бывший корпорант и, как видно, блестящий хирург. Потом есть еще Кроковский – ассистент Беренса, ничего не скажешь, толковая голова. В проспекте особенно подчеркивается его деятельность. Дело в том, что он занимается с пациентами расчленением души.

– Чем он занимается? Расчленением души? Вот гадость! – воскликнул Ганс Касторп, и тут его веселье перешло все границы: он уже не мог владеть собой.

После всего, что ему пришлось услышать, это «расчленение души» переполнило чашу, и он так начал хохотать, что слезы потекли у него из-под руки, которой он, наклонившись вперед, прикрыл глаза. Иоахим тоже искренне рассмеялся – смех, казалось, его успокоил, – и когда лошади шагом доставили их по крутой и извилистой подъездной аллее к главному входу интернационального санатория «Берггоф», молодые люди вышли из экипажа в самом веселом расположении духа.

Номер 34

Справа, между воротами и крытым подъездом, находилась будка портье; оттуда вышел служащий, по внешности француз, – он перед тем сидел у телефона и читал газету; француз был в такой же серой ливрее, как и хромой на вокзале, и он повел их куда-то через ярко освещенный вестибюль, по левую сторону которого находились гостиные. Ганс Касторп мимоходом заглянул в них – они были пусты.

– А где же пациенты? – спросил он.

Иоахим ответил:

– Лежат на воздухе. Сегодня мне дали отпуск, так как я должен был встречать тебя. А обычно я после ужина тоже лежу.

Еще немного, и Ганс Касторп опять расхохотался бы.

– Что? Вы лежите на балконе даже ночью, в туман? – спросил он дрогнувшим голосом…

– Да, таково предписание врачей, с восьми до десяти. А теперь пойдем, посмотри свою комнату и вымой руки.

Они вошли в лифт, который обслуживал француз. Пока они поднимались, Ганс Касторп вытер глаза.

– Фу, даже устал от смеха… Совсем обессилел, – сказал он, дыша ртом. – Ты мне нарассказал таких чудес… А уж насчет расчленения души – это переполнило чашу, всему есть предел! Потом я, вероятно, все-таки немного устал от путешествия. У тебя тоже зябнут ноги? А лицо почему-то горит… Даже неприятно. Наверное, сейчас будет ужин? Я, кажется, проголодался. Как у вас тут наверху – кормят прилично?

Они шли по коридору, и дорожка из кокосовых волокон совершенно заглушала их шаги. Сквозь молочные колокольчики абажуров с потолка лился бледный свет. Стены, выкрашенные масляной краской и словно отлакированные,

поблескивали жесткой белизной. Откуда-то появилась медицинская сестра в белом чепце и в пенсне, шнурок она заложила за ухо; вероятно, протестантка, – видно, что в ней нет настоящей преданности своей профессии, ее снедает любопытство и угнетает скука. В двух местах коридора перед белыми лакированными дверями стояли какие-то баллоны – пузатые, с короткими горлами, но спросить, для чего они, Ганс Касторп забыл.

– Вот и твоя комната, – сказал Иоахим, – номер тридцать четвертый. Справа – я, слева – русская супружеская чета, – правда, они несколько распущенны и шумливы, но иначе нельзя было устроить. Ну как?

Двери были двойные, между ними вешалка для платья. Иоахим включил верхний свет, и в его трепетной ясности комната показалась Гансу Касторпу уютной и мирной: белая практичная мебель, белые плотные обои – их можно было мыть, – чистенький линолеум на полу и холщовые занавески, на которых согласно современным вкусам был выткан несложный веселенький узорчик. В открытую настежь балконную дверь видны были огни в долине и доносилась далекая танцевальная музыка. К приезду кузена добряк Иоахим поставил в вазу на комоде букетик цветов, все, что удалось собрать после покоса, – пучок кашки и несколько колокольчиков, сорванных им собственноручно на горных склонах.

– Очень мило с твоей стороны, – сказал Ганс Касторп. – А какая симпатичная комната! Тут можно спокойно и приятно прожить две-три недели!

– Два дня тому назад здесь умерла одна американка, – вдруг сказал Иоахим. – Беренс сразу предупредил, что она не дотянет до твоего приезда и можно будет отдать эту комнату тебе. При ней был ее жених, английский морской офицер, но не скажу, чтобы он владел собой. То и дело выбегал в коридор и плакал, точно мальчишка. А потом начинал втирать в кожу кольдкрем – он побрился и от слез жгло щеки. Вечером у американки кровь хлынула горлом, два кровотечения – и конец. Но ее унесли вчера утром, и потом тут, конечно, все выпарили формалином, он, знаешь ли, считается в таких случаях отличным средством.

Ганс Касторп слушал кузена с какой-то взволнованной рассеянностью. Засучив рукава и став перед объемистым умывальником, никелированные краны которого поблескивали в электрическом свете, он неприметно скользнул взглядом по опрятно застеленной кровати из белого металла.

– Все выпарили… Это здорово, – с довольно неуместной развязностью заметил он, тщательно вымыв и вытерев руки. – Да, метилальдегида не выдерживает самая живучая бактерия, – Н

СО, но от него щиплет в носу, верно? У вас тут первым условием является бес-спорно строжайшая чистота… – Он произнес «бес-спорно» как два отдельных слова, хотя двоюродный брат, став студентом, отучился от этого довольно распространенного произношения и говорил «беспорно»; затем продолжал с большой словоохотливостью: – Что я еще хотел сказать… Ах да, вероятно, морской офицер брился безопасной бритвой, но, по-моему, такой бритвой, если ее хорошенько наточить, скорее можно порезаться, чем опасной, таков по крайней мере мой личный опыт, ведь я пользуюсь и той и другой… Ну, а когда соленая вода попадает на раздраженную кожу, конечно больно, и он, наверно, привык на службе мазаться кольдкремом, тут ничего особенного нет… – Ганс Касторп продолжал болтать; он сообщил, что у него в чемодане припасено двести штук «Марии Манчини» – это его любимые сигары, на таможне осматривали спустя рукава… Потом передал приветы от разных лиц на родине. – Разве здесь не топят? – вдруг прервал он себя и, подбежав к трубам, пощупал их рукой.

– Нет, нас приучают к холодку, – ответил Иоахим. – Но в августе, когда начинает работать центральное отопление, будет гораздо теплее.

– В августе, в августе! – повторил Ганс Касторп. – А мне сейчас холодно! Мне ужасно холодно, и зябнет именно тело, а лицу почему-то очень жарко – вот, тронь, видишь, как у меня щеки горят!

Предложение тронуть его лицо весьма мало соответствовало характеру Ганса Касторпа и неприятно подействовало на него самого.

– Это от воздуха и не имеет никакого значения. У самого Беренса целый день синие щеки. Некоторые люди так и не привыкают. Ну, go on[2 - Пошли (англ.).], а то нам уже не дадут поесть, – сказал Иоахим.

В коридоре опять показалась сестра, она с любопытством следила за ними близорукими глазами. Но на первом этаже Ганс Касторп вдруг остановился, словно пригвожденный к месту: из-за поворота донеслось какое-то совершенно отвратительное клокотание, негромкое, но до того мерзкое, что молодой

человек сделал гримасу и изумленно посмотрел на кузена. Это был кашель, и, очевидно, кашлял человек. Однако такого кашля Ганс Касторп никогда и ни при каких обстоятельствах не слышал, в сравнении с ним любой кашель показался бы мощным выражением здоровья и жизненных сил, – а тут человек кашлял без всякого вкуса и удовольствия, не отчетливыми и равномерными толчками, а, казалось, он бессильно барахтается в гуще каких-то выделений своего организма.

– Да, – сказал Иоахим, – его дело плохо, настоящий австрийский барин, понимаешь ли, изысканный, прямо-таки созданный быть аристократическим наездником. А теперь вот в таком состоянии. Но он еще ходит.

Они двинулись дальше, и Ганс Касторп снова заговорил о кашле австрийца.

– Не забудь, – сказал он, – что я ничего подобного никогда не слышал, все это для меня в новинку, и, конечно, производит впечатление. Ведь есть так много разных кашлей, – сухой и влажный, влажный менее опасен, как все утверждают, и, уж конечно, лучше, чем такой вот лай. Когда у меня в юности (он так и сказал: «в юности») бывала ангина, я лаял, как волк, и все радовались, если лай становился влажным, до сих пор помню. Но я даже не подозревал, что можно так кашлять, – это даже не кашель живого человека, он не сухой, но и влажным его не назовешь, это совсем не то слово; когда так кашляют, кажется, будто видишь человеческое нутро – а там только липкое месиво да слизь…

– Ну, – отозвался Иоахим, – мне-то приходится слышать его каждый день. Так что можешь не расписывать.

Но Ганс Касторп не успокаивался и повторял все вновь и вновь, что при таком кашле видишь нутро человека. Когда они наконец вошли в ресторан, его усталые с дороги глаза возбужденно блестели.

В ресторане

Ресторан был элегантен, уютен, ярко освещен. В него попадали из холла, первые двери направо, и, как сообщил Иоахим, рестораном пользовались главным

образом вновь прибывшие больные, обитатели санатория, почему-либо опоздавшие к обеду или ужину, и те, у кого были гости. Здесь праздновались дни рождений, отъезды, благоприятные результаты общих обследований.

– Иной раз тут даже устраиваются пиры, – продолжал рассказывать Иоахим, – подают шампанское.

Сейчас в ресторане сидела только одна дама лет тридцати; она читала книгу, что-то напевая и слегка постукивая по столу средним пальцем левой руки. Когда молодые люди заняли столик, она переменила место, чтобы сидеть к ним спиной.

– Нелюдимка… – вполголоса пояснил Иоахим, – всегда является в ресторан с книгой. Она попала в санаторий совсем молоденькой девушкой и с тех пор так тут и живет.

– Н у, тогда ты, в сравнении с ней, еще новичок, с твоими пятью месяцами, и будешь им, если проторчишь здесь даже целый год, – сказал Ганс Касторп; в ответ Иоахим передернул плечами, – опять этот жест, ему раньше несвойственный, – и взялся за меню.

Они расположились у окна, на возвышении, это было самое лучшее место в зале. И вот они сидели друг против друга на фоне кремовой шторы, и на их лица падал свет настольных ламп, смягченный красными абажурами. Ганс Касторп сложил перед собой только что вымытые руки, затем неторопливо и с удовольствием потер их, как делал обычно, когда садился за стол, – может быть, потому, что его предки имели обыкновение молиться перед супом. Их столик обслуживала приветливая, расторопная девушка в черном платье и белом переднике, с широким, румяным и безусловно здоровым лицом; Ганс Касторп очень смеялся, узнав, что кельнерш здесь зовут «столовые девы». Кузены заказали бутылку «Грюо Лароз», причем, когда «дева» подала его, Ганс Касторп отправил вино обратно, чтобы его получше подогрели. Ужин был отличный: суп из спаржи, фаршированные помидоры, жаркое с самым разнообразным гарниром, особенно вкусное сладкое, сыр и фрукты. Он усердно ел, хотя его аппетит оказался меньше, чем он предполагал. Но у него была привычка усердно есть, даже когда не хотелось, он ел много просто из самоуважения.

Иоахим не слишком оказывал честь вкусным кушаньям: ему уже надоела эта стряпня, заявил он, всем им тут наверху она при елась, и у них принято бранить здешний стол. Ведь когда проживешь в этом месте тридцать лет и три года… но пил с большим удовольствием и даже самозабвенно; тщательно избегая всяких слишком чувствительных выражений, он вторично высказал свою радость по поводу того, что наконец-то есть человек, с которым можно перекинуться разумным словом.

– Нет, это чудесно, что ты приехал, – заявил он, и в его обычно спокойном голосе прозвучало тайное волнение. – Откровенно говоря, твой приезд для меня – целое событие. Хоть какое-то разнообразие, я хочу сказать – хоть какая-то перемена, что-то новое в этом вечном, невыносимом однообразии…

– Но ведь время у вас тут, наверно, просто летит, – заметил Ганс Касторп.

– И летит и тянется, как посмотреть, – ответил Иоахим. – В сущности, оно стоит на месте, это же не время и это не жизнь – какая там жизнь, – продолжал он, покачав головой, и снова налил себе вина.

Выпил и Ганс Касторп, хотя его лицо уже пылало. Однако ему все еще было холодно, и он ощущал во всем теле какое-то неведомое, радостное и вместе с тем томительное беспокойство. Он так и сыпал словами, оговаривался, но, пренебрежительно махнув рукой, не прерывал себя, чтобы поправиться. Впрочем, оживлен был и Иоахим, а когда напевающая дама вдруг встала и удалилась, их беседа потекла еще веселей и непринужденнее. Они жестикулировали вилками, с набитым ртом строили многозначительные мины, пожимали плечами, смеялись, кивали и, едва проглотив кусок, снова подхватывали нить разговора. Иоахим расспрашивал о Гамбурге, коснулся предполагаемого углубления русла Эльбы.

– Теперь начнется новая эра! – заявил Ганс Касторп. – Новая эра развития нашего судоходства, – этого переоценить нельзя. Пятьдесят миллионов мы вкладываем в виде единовременного бюджетного расхода. А мы знаем, что делаем, можешь не сомневаться.

Впрочем, несмотря на всю важность, которую Ганс Касторп придавал вопросу об Эльбе, он тотчас перескочил на другое и потребовал, чтобы Иоахим рассказал ему подробнее относительно жизни «здесь наверху», а также о пациентах

санатория, за что тот принялся с охотой, ибо рад был возможности выговориться и поделиться впечатлениями. Ему пришлось повторить свой рассказ о трупах, которые спускают вниз на бобслеях, и еще раз подтвердить, что это сущая правда. А так как Гансом Касторпом снова овладел неудержимый смех, расхохотался и он и, видимо, смеялся с удовольствием, от души; потом сообщил еще много смешного, чтобы поддержать веселое настроение. Например, за его столом сидит некая дама, фрау Штёр, – она довольно серьезно больна, – и вот эта дама – хотя она супруга музыканта из Канштата, но таких невежд он еще не видывал, – она говорит «дезинфисцировать», и притом – вполне серьезно. А ассистента Кроковского она называет «Фомулюс». Вот и слушай ее без смеху и виду не подавай. Кроме того, она сплетница, как, впрочем, почти все здесь наверху… а про другую даму, некую фрау Ильтис, она говорит, что та носит при себе «стерилет». Она называет стилет «стерилетом» – восхитительно, правда? – И, откинувшись на спинки стульев, полулежа, они так расхохотались, что у обоих задергалось все тело и почти одновременно началась икота.

Но лицо Иоахима вдруг потемнело, он вспомнил о собственной участи.

– Да, вот мы сидим и смеемся, – начал он со страдальческим выражением лица – от сотрясений диафрагмы его речь то и дело прерывалась, – а даже сказать трудно, когда я отсюда выберусь; если Беренс говорит – еще полгода, он обычно называет наименьший срок, и нужно быть готовым к гораздо большему. Но ведь это жестоко, посуди сам, и для меня очень плохо. Ведь я уже кончал училище и мог бы в следующем месяце сдать экзамен на офицера. Вместо этого я тут торчу без дела, с градусником во рту, считаю курьезы невежественной фрау Штёр, а драгоценное время уходит. В нашем возрасте год – это немало, там внизу жизнь приносит за год столько перемен, таких можно добиться успехов… А я тут должен протухать, как застоявшаяся вода в яме… бездельничать, как ленивый болван, – нет, это вовсе не грубое сравнение…

Ганс Касторп почему-то спросил в ответ, можно ли тут достать портеру, и когда двоюродный брат с некоторым удивлением взглянул на него, то увидел, что тот сейчас заснет, – собственно говоря, уже заснул.

– Да ты спишь! – сказал Иоахим. – Пойдем, время лечь обоим.

– Никакого времени нет, – пробормотал Ганс Касторп, едва ворочая языком. Все же он последовал за Иоахимом деревянной походкой и слегка сутулясь, точно человек, который буквально падает от усталости; но вдруг решительно взял

себя в руки, когда Иоахим, проходя через холл, который был теперь лишь слабо освещен, сказал:

– Вон Кроковский. По-моему, следует скоренько тебя представить.

Доктор Кроковский сидел в одной из гостиных перед камином, на свету, рядом с открытой выдвижной дверью и читал газету. Он встал, когда молодые люди подошли к нему, и Иоахим, вытянувшись по-военному, заявил:

– Разрешите, доктор, представить вам моего двоюродного брата Ганса Касторпа из Гамбурга. Только что приехал.

Доктор Кроковский приветствовал вновь прибывшего с веселой солидностью и ободряющей сердечностью, словно хотел показать, что с глазу на глаз с ним – всякое смущение излишне, а уместно лишь радостное доверие.

Был он лет тридцати пяти, широкоплечий, плотный, гораздо ниже ростом стоявших перед ним молодых людей, так что ему приходилось склонять голову набок, чтобы заглянуть им в лицо, – и необычайно бледный какой-то прозрачной, почти фосфоресцирующей бледностью, которую еще подчеркивали темные жаркие глаза, чернота бровей и довольно длинная, разделенная надвое борода, уже чуть серебрившаяся сединой. На нем был черный слегка потертый костюм с двубортным пиджаком, черные же полуботинки с верхом, как у сандалий, серые шерстяные носки и мягкий отложной воротник – такой воротник Ганс Касторп видел до сих пор только на фотографе в Данциге и нашел, что он придает Кроковскому что-то артистическое. Ласково улыбаясь, так что в чаще бороды блеснули его желтые зубы, и тряхнув молодому человеку руку, он сказал баритоном и с несколько тягучим иностранным акцентом:

– Добро пожаловать, господин Касторп! Надеюсь, вы скоро привыкнете и будете чувствовать себя хорошо у нас. Осмелюсь спросить, вы к нам приехали как пациент?

Ганс Касторп делал просто трогательные усилия держаться как подобает воспитанному юноше и побороть сонливость. Его злило, что он в такой плохой форме, и, с самолюбивой обидчивостью молодости, он уже воображал, что улавливает в улыбке и ободряющем тоне ассистента скрытую насмешку. Отвечая Кроковскому, он упомянул о трех неделях, а также о сданных экзаменах

и добавил, что, слава Богу, вполне здоров.

– Вот как? – удивился доктор Кроковский и, словно поддразнивая его, склонил голову на плечо, улыбнувшись еще шире… – Ну, тогда вы – феномен, достойный всестороннего изучения! Мне еще ни разу не приходилось встречать вполне здорового человека. Какие же экзамены вы сдали, осмелюсь спросить?

– Я – инженер, – ответил Ганс Касторп скромно, но с достоинством.

– Ах, инженер! – Улыбка доктора Кроковского словно померкла, она стала как будто менее широкой и сердечной. – Что ж, молодец! Значит, ни вашему телу, ни вашей душе здесь не понадобится врачебная помощь?

– Нет, огромное спасибо! – Ганс Касторп в страхе чуть не попятился.

Лицо доктора Кроковского вновь просияло торжествующей улыбкой, он снова тряхнул руку молодого человека и громко возгласил:

– Ну, так спите спокойно, господин Касторп, – с полным сознанием своего безупречного здоровья! Спите спокойно и до свидания! – Этим он как бы отпустил молодых людей и, сев в кресло, опять взялся за газету.

Лифтера уже не было, они стали подниматься но лестнице пешком, молча, несколько смущенные встречей с Кроковским. Иоахим проводил Ганса Касторпа до комнаты номер тридцать четыре, куда хромой действительно уже доставил его багаж, и кузены еще поболтали с четверть часика, пока Ганс Касторп вынимал ночное белье и принадлежности для умывания и курил толстую некрепкую сигарету. Сегодня он обошелся без сигары, и это казалось ему каким-то удивительным и необъяснимым событием.

– Лицо у него очень значительное, – начал молодой человек, выпуская клубы дыма. – И бледное… совсем восковое. Но обувь… Послушай, это же ужас! Какие-то серые шерстяные носки, сандалии… Он под конец на меня не обиделся?

– Кроковский довольно чувствителен, – согласился Иоахим. – Тебе не следовало так категорически отказываться от лечения, по крайней мере – психического. Он не любит, когда уклоняются от его помощи как врача. Ко мне он тоже не очень-

то благоволит – я недостаточно ему доверяю. Но время от времени я все же рассказываю ему свои сны, должен же он хоть что-нибудь расчленять.

– Н у, тогда он, наверное, на меня обиделся, – с досадой заметил Ганс Касторп. Он был недоволен собой: вот задел кого-то… Кроме того, усталость охватила его с новой силой.

– Спокойной ночи, – сказал он, – я прямо с ног валюсь.

– В восемь я буду у тебя, пойдем завтракать, – сказал Иоахим и удалился.

Ганс Касторп сделал кое-как свой ночной туалет. Едва он успел потушить лампочку, стоявшую на ночном столике, как сон сморил его, но он тут же испуганно очнулся, вспомнив, что на этой самой кровати всего два дня назад кто-то умер. «И, наверно, не один здесь умирал», – сказал он себе, словно это могло послужить утешением. «Просто смертный одр, обыкновенный смертный одр». И заснул.

Но как только он погрузился в сон, начались сновидения, и они не прекращались почти до утра. Главным образом ему снился Иоахим Цимсен в странной позе, словно тело его было вывихнуто; Иоахим съезжал на бобслее по косой дороге. Лицо его покрывала такая же бледность, как у доктора Кроковского, а впереди сидел австрийский аристократ; черты лица у него были самые неопределенные, как у человека, о котором ничего не знаешь, кроме его кашля. И он правил. «Нам же здесь наверху это совершенно безразлично», – заявил вывихнутый Иоахим, а потом оказалось, что это у него, а не у австрийца, такой ужасный клокочущий кашель. Поэтому Ганс Касторп горько заплакал и тут же решил, что ему надо бежать в аптеку и купить себе кольдкрему. Но у дороги сидела фрау Ильтис с остренькой мордочкой и держала что-то в руке, очевидно, свой «стерилет», – оказалось, всего-навсего безопасную бритву; это заставило Ганса Касторпа снова рассмеяться. Так его швыряло из одних сновидений в другие, пока в полуоткрытую балконную дверь не просочилось утро, – оно и разбудило его.

Глава вторая

О крестильной купели и о дедушке в двояком образе

Ганс Касторп сохранил о родительском доме лишь смутные воспоминания, отца с матерью он почти не знал. Оба умерли один за другим – между его пятым и седьмым годом; сначала мать, – она совершенно неожиданно, незадолго до родов, скончалась от закупорки сосудов, последовавшей за воспалением нервов, от эмболии, как определил болезнь доктор Хейдекинд; закупорка и вызвала мгновенный паралич сердца: мать только что хохотала, сидя в постели, и казалось, она просто упала навзничь от смеха, однако это случилось с ней лишь потому, что она умерла. Нелегко было примириться с этим Гансу-Герману Касторпу, его отцу, и так как он горячо любил жену, да и сам был не из крепких, то не выдержал этого удара. С того времени ум его как-то ослабел и расстроился; поглощенный тоской, он допустил в делах некоторые ошибки, так что фирма «Касторп и сын» понесла чувствительные убытки; через два года, весной, во время инспекции складов в ветреном порту, он заболел воспалением легких; его потрясенное сердце не вынесло высокой температуры, поэтому, несмотря на всю тщательность, с какой его лечил доктор Хейдекинд, он сгорел в пять дней и последовал за женой в семейный склеп, причем многие почтенные бюргеры проводили его на кладбище Св. Екатерины до могилы, расположенной в живописнейшем месте, с видом на ботанический сад.

Его отец, сенатор, пережил сына, хотя и не намного; недолгое время до его смерти, последовавшей также от воспаления легких, причем старик очень мучился и упорно боролся с болезнью, ибо в отличие от сына Ганс-Лоренц Касторп был могучей натурой, пустившей крепкие корни в жизнь, – это недолгое время, всего каких-нибудь полтора года, осиротевший Ганс Касторп прожил в доме деда. Дом занимал узкий земельный участок на Эспланаде, он был построен в начале прошлого века, в духе северного классицизма и выкрашен в прочный, но унылый цвет; по бокам главного входа стояли два пилястра, полуподвальный этаж был поднят на пять ступеней над землей, еще два этажа высились над бельэтажем, где окна доходили до полу и были защищены чугунными литыми решетками.

Здесь находились только парадные покои и светлая, выложенная штучным деревом столовая, три окна которой с винно-красными занавесками глядели в садик за домом. И вот, в течение тех полутора лет, что старик еще прожил, каждый день ровно в четыре часа дед и внучек обедали вдвоем в этой столовой; им прислуживал старик Фите; в ушах у него были серьги, а на фраке –

серебряные пуговицы; он носил такой же батистовый галстук, как и сам хозяин дома, и совершенно так же прятал в него бритый подбородок, причем дедушка называл его на «ты» и в разговоре с ним неизменно пользовался нижненемецким наречием: не шутки ради, – дед был совершенно лишен юмористической жилки, – а самым серьезным образом, оттого что считал нужным так разговаривать с простонародьем – со складскими рабочими, почтальонами, кучерами и слугами. Гансу Касторпу это нравилось, и еще больше нравилось, когда Фите отвечал барину на том же диалекте и, стоя за ним слева, наклонялся на правую сторону, чтобы сенатору было удобнее подставлять правое ухо, ибо на левое он был глуховат. А так старик слышал все, что говорил слуга, и, кивая головой, продолжал кушать; он сидел очень прямо между спинкой стула красного дерева и столом, едва склоняясь над тарелкой, внук же, сидевший напротив, созерцал бессознательно, однако с глубоким вниманием, скупые, изысканные движения старческих рук – сухих, но красивых и белых, его выпуклые остроугольные ногти, перстень с зеленой печаткой на указательном пальце правой руки и то, как дед берет на кончик вилки немного мяса, овощей и картофеля и, сделав ей навстречу легкое движение головой, подносит ко рту. Потом Ганс Касторп опускал глаза на собственные, еще неловкие руки и чувствовал, что в них уже заложена способность со временем так же держать нож и вилку и действовать ими так же изысканно.

Другой вопрос, который мальчик задавал себе, был о том, на учится ли он когда-нибудь погружать, как и дед, свой подбородок в белый странно широкий галстук – скорее шейный платок, закрывавший почти целиком низко вырезанный воротничок какого-то необычного образца, причем острые уголки воротничка царапали деду щеки. Ведь для этого надо было быть таким же старым, ибо никто на свете, кроме деда да его слуги Фите, уже не носил подобных галстуков и воротничков. А жаль, маленькому Гансу Касторпу очень нравилось, как старик опирается подбородком на этот широкий белоснежный шейный платок, и когда внук уже стал взрослым, это продолжало нравиться ему по воспоминаниям; тут было что-то, вызывавшее одобрение самой сущности его натуры.

Когда обед был кончен, салфетки свернуты и засунуты в серебряные кольца – в те времена Ганс Касторп нелегко справлялся с этой задачей, ибо салфетки были очень велики, целые скатерти, – сенатор поднимался со стула, который Фите тут же отодвигал, и, шаркая ногами, следовал в «кабинет», чтобы выкурить сигару; порою за ним шел туда и внук.

Своим существованием «кабинет» был обязан тому, что столовую в три окна сделали во всю ширину дома и места хватило не на три гостиных, как полагалось при таком типе домов, а лишь на две, причем одна из них, расположенная перпендикулярно к столовой и с одним окном на улицу, оказалась не в меру длинной. Тогда от нее отделили четвертую часть, это и был «кабинет» – узкая комната с верхним светом, сумрачная и скудно обставленная; в ней находились: этажерка, на которой стоял ящик сенатора с сигарами, ломберный стол, где хранились всякие соблазнительные вещи – карты для виста, фишки, раздвижные дощечки с мелкими зубчиками, аспидная доска, бумажные мундштуки для сигар и прочая дребедень, а также стеклянный шкаф в духе рококо из палисандрового дерева, стоявший в углу и затянутый изнутри желтыми шелковыми занавесками.

– Дедушка, – обычно говорил маленький Ганс Касторп, войдя в кабинет, и приподнимался на цыпочки, чтобы дотянуться до уха старика, – покажи мне, пожалуйста, купель!

А дед, который и так уже откинул полы своего длинного сюртука из мягкой материи и вытащил из кармана брюк связку ключей, отпирал стеклянный шкаф, откуда на мальчика веяло странно приятным и непривычным ароматом. В шкафу хранились всякие вышедшие из употребления, а потому страшно интересные предметы: пара причудливо изогнутых серебряных канделябров, украшенный деревянной резьбой поломанный барометр, альбом с дагерротипами, ликерный ящичек из кедрового дерева, маленький турок, очень жесткий под своей пестрой шелковой одеждой и снабженный часовым механизмом, который когда-то заставлял его бегать по столу, но уже давно испортился, старинная модель корабля и совсем внизу – даже мышеловка. Старик брал со средней полки сильно потемневшую серебряную чашу, стоявшую на серебряной тарелке, и показывал мальчику то и другое, причем, сняв чашу с тарелки, давал рассматривать их порознь и пускался в объяснения, которые внук уже слышал много раз.

Первоначально чаша и тарелка существовали порознь – это было бесспорно, но малышу объяснялось каждый раз заново; однако вот уже ровно сто лет, говорил дед, как была приобретена эта чаша, и они употребляются вместе. Чаша была очень красива, простой и благородной формы, созданная согласно строгим вкусам начала прошлого века. Гладкая и цельная, она покоилась на круглой подставке и была изнутри вызолочена; однако время стерло позолоту, и осталось только немного желтоватого блеска. Единственным украшением

служил изящный венок из роз и зубчатых листьев, опоясывавший верхний край. Что касается тарелки, то о ее гораздо большей древности явно говорили цифры на внутренней стороне: «1650» было там написано вычурными цифрами, причем вокруг них шел орнамент, выгравированный в тогдашней напыщенной и причудливой «модной манере» и состоявший из сплетения гербов и арабесок – не то звезд, не то цветов. А на обратной стороне были выведены пунктиром и разнообразными шрифтами имена всех тех, кто, в ходе времени, являлся владельцем этой тарелки. Их было уже семь, – возле каждого стояла дата получения ее по наследству, и старик в широком галстуке указывал пальцем с перстнем на всех по очереди. Мальчик видел здесь имя отца, деда и прадеда, а затем частица «пра» в устах старика удваивалась, утраивалась и учетверялась; мальчуган слушал, склонив голову набок, взор его становился задумчивым или бездумно-мечтательным, как бы уходил вглубь, а губы принимали какое-то благоговейно-дремлющее выражение, и это пра-пра-пра-пра – этот загадочный звук могилы и засыпанного времени, выражавший вместе с тем благочестиво сбереженную связь между настоящим, между собственной жизнью мальчика и тем, что было давно-давно, действовал на него особым образом – примерно так, как это и отражалось на его лице. Ему чудилось, будто, слыша это «пра», он вдыхает затхлый холодок, царивший обычно в церкви Св. Екатерины или в склепе Св. Михаила, будто чувствует на себе веяние таких мест, где идешь, держа шляпу в руках, почтительно наклонившись вперед и почему-то ступая на цыпочках, ему чудилось, будто он слышит нездешнюю, умиротворенную и гулкую тишину этих мест, а глухой слог «пра» вызывал в нем ощущение духовности, смешанное с ощущением смерти и истории, – и все это действовало на мальчика благотворно; может быть, даже именно ради этого слога, только чтобы еще раз услышать его и повторить, он так часто просил деда показать купель.

Затем дед ставил чашу обратно на тарелку и давал малышу заглянуть в ее гладкое, чуть золотящееся нутро, которое вдруг вспыхивало от света, падавшего с потолка.

– Вот уже скоро восемь лет, – говорил дед, – как мы держали тебя над нею, и вода, которой тебя крестили, стекала в нее… Кистер Лассен из церкви Святого Иакова лил ее в горсть нашему доброму пастору Бугенхагену, а оттуда она лилась на твой вихор и в чашу. Но мы ее перед тем подогрели, чтобы ты не испугался и не расплакался, а ты и не заплакал, наоборот – ты кричал перед тем так, что Бугенхагену нелегко было произнести свою речь, но когда на тебя полилась вода, ты вдруг затих – будем надеяться, что из уважения к святому таинству. На днях минет сорок четыре года, как крестили твоего покойного отца

и с его головы в чашу стекала вода. Это происходило здесь, в доме его родителей, наверху в зале, перед средним окном; его еще крестил старик пастор Езекиил, тот самый, кого французы, когда он был юношей, чуть не расстреляли за то, что он в своих проповедях громил их за разбой и поджоги, – он тоже давным-давно на небесах. А семьдесят пять лет тому назад меня самого крестили в этой же зале, и они держали мою голову над чашей, которая стоит вот тут на тарелке, и пастор произносил те же слова, что и над тобой и над твоим отцом, и так же стекала теплая чистая вода с моих волос (тогда их было у меня на голове немногим больше, чем сейчас) в эту золотую чашу.

Ребенок поднимал глаза и смотрел на старчески сухощавую голову деда – она ведь тоже была склонена над купелью в тот далекий час, о котором он рассказывал внуку, – и в душе мальчика возникало уже не раз изведанное им ощущение какой-то дремотной и мечтательной жути, чего-то, что проходит и все же стоит на месте, что в своих изменениях пребывает неизменным, исчезает и возвращается, оставаясь головокружительно единым. Это чувство появлялось у него и раньше, его прикосновения он ждал и жаждал; отчасти ради него мальчику и хотелось, чтобы ему все вновь и вновь показывали эту неподвижно стоящую на месте и все-таки странствующую реликвию семьи.

Когда потом, уже будучи молодым человеком, Ганс Касторп думал о себе, то ему становилось ясно, что образ деда запечатлелся в его душе гораздо глубже и отчетливее и представлялся ему более значительным, чем образ родителей; причиной этого являлась, может быть, особая симпатия к деду, чувство особого сродства с ним, ибо внук и наружностью был очень похож на него – насколько розовый юнец может походить на поблекшего и окостеневшего семидесятилетнего старца. Несомненно, эти чувства вызывал и сам дед, который, бесспорно, являлся в семье наиболее характерной и красочной фигурой.

С точки зрения общественного развития время, еще задолго до кончины Ганса-Лоренца Касторпа, уже перекатилось через него и унеслось вперед. Он был глубоко верующим христианином и членом реформатской общины, строго придерживался старых традиций, с трудом шел на какие-либо новшества и так упрямо отстаивал необходимость ограничить аристократией круги, способные управлять государством, как будто жил в четырнадцатом веке, когда ремесленники в упорной борьбе с исконным вольным патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе. Его деятельность совпала с десятилетиями бурного подъема и многообразных переворотов, с

десятилетиями стремительного прогресса, шествовавшего форсированным маршем и неизменно требовавшего от общества высокой жертвенности и дерзаний. Но его, старика Касторпа, видит Бог, отнюдь не радовали те прославленные и блистательные победы, которые одерживал дух новой эпохи. Обычаи отцов и старинные учреждения он ставил гораздо выше, чем все эти рискованные попытки расширить гавани или другие безбожные причуды больших городов; поэтому он тормозил и угашал все новое, где только мог, и будь его воля – в управлении страной и поныне царила бы та же допотопная идилличность, которой отличалась его собственная контора.

Таким представлялся бюргерам старик Касторп и при жизни, и после смерти; пусть маленький Ганс Касторп ничего не смыслил в государственных делах, но у него, наблюдавшего характер деда с чисто детской тихой созерцательностью, складывались в основном те же впечатления – без слов, а потому и без критики; это были скорее непосредственные живые восприятия, и когда они позднее возникали уже как осознанные воспоминания, они оставались столь же невыразимыми в словах и неподдающимися анализу, но полными прежней жизнеутверждающей силы. Как уже было сказано, здесь играло немалую роль то глубокое сродство, та симпатия и связь между дедом и внуком, которые соединяли их, минуя звено одного поколения, что случается в семьях нередко. Дети и внуки взирают на отцов и дедов, чтобы восхищаться ими, а, восхищаясь, учатся у них и развивают в себе заложенное в них отцами и дедами наследие.

Сенатор Касторп был тощ и долговяз. Годы взяли свое – его спина и шея согнулись, но, не желая выдавать этой согбенности, он упорно выпрямлял свой стан, а уголки губ, уже лежавших не на зубах, а на обнаженных деснах (старик пользовался искусственной челюстью лишь во время еды), он старался с достоинством держать опущенными; желая также скрыть, что голова у него начала трястись, он принимал гордую осанку и опирался подбородком на воротничок – привычка, особенно пленявшая маленького Ганса Касторпа.

Дед любил нюхать табак, он хранил его в продолговатой черепаховой табакерке с золотыми инкрустациями и из-за этой склонности употреблял только красные носовые платки, причем кончик обычно вывисал из заднего кармана его сюртука; хотя эта привычка и казалась несколько смешной при столь достойном внешнем облике, однако ее легко можно было извинить преклонным возрастом – либо как одну из тех вольностей, которую старость разрешает себе сознательно, из чудачества, либо как одну из тех слабостей, которые появляются у глубоких стариков, но ими не осознаются. Во всяком случае Ганс Касторп своим по-детски

зорким взглядом подметил за дедом эту единственную слабость. И семилетнему мальчику и, позднее, взрослому человеку, когда он обращался к своим воспоминаниям, казалось, что будничный облик деда – это еще не его истинная, подлинная сущность. В истинной действительности он выглядит иначе, прекраснее и ближе к своему подлинному облику – как на своем портрете во весь рост, висевшем раньше в столовой родителей, а теперь перекочевавшем вместе с маленьким Гансом Касторпом в дом на Эспланаде, где его водрузили в гостиной над широким диваном, обитым красным шелком.

Художник изобразил Ганса-Лоренца Касторпа в одежде члена магистрата; это была строгая, почти ритуальная одежда прошлого столетия, – она сохранила на века дух тогдашней городской общины, важный и вместе предприимчивый, – и надевалась в самых торжественных случаях, как бы для того, чтобы церемониально претворять прошлое в настоящее и настоящее – в прошлое, тем самым подтверждая неизменную связь всех вещей и добротную надежность почтенной купеческой подписи.

Сенатор Касторп стоял во весь рост на полу из красноватых плит, фоном служили готические арки и колонны. Он стоял, опустив подбородок и углы рта, устремив вдаль задумчивый взгляд голубых глаз с отеками под ними, в черном, ниже колен, одеянии, похожем на мантию, открытом спереди и обшитом широкой меховой каймою. Из широких с буфами верхних отороченных мехом рукавов выступали более узкие нижние, из простого сукна; кружевные манжеты закрывали руки до середины пальцев. На стройных старческих ногах были черные шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками, шею охватывали крахмальные, широкие и пышные брыжи, спереди они были плоские, по бокам стояли вверх, а из-под них на жилет спускалось еще плоеное батистовое жабо. Под мышкой сенатор держал старомодную шляпу с полями и суживающейся кверху тульей.

Портрет, написанный известным художником, был превосходен, выдержан в манере старинных мастеров, очень подходившей к данному сюжету и будившей в зрителе воспоминания об испано-нидерландском позднем средневековье. Маленький Ганс Касторп частенько разглядывал эту картину. Он, конечно, не понимал мастерства живописца, но какое-то более общее и глубокое понимание у него возникало; и хотя он видел деда таким, как на холсте, всего один раз, в минуту его торжественного въезда в ратушу, да и то лишь мельком, все же, как мы уже отмечали, дед на картине казался мальчику подлинным и настоящим, а дед в жизни – образом будничным и временным, вспомогательным и весьма

несовершенным.

Он потому и находил что-то необычное и волшебное в будничном деде, ибо хоть и неумело, но сопоставлял эти два образа, сравнивал их и видел в будничном тайные и полустертые черты подлинного: пусть этот стоячий воротничок и белый широкий галстук старомодны, но можно ли было назвать старомодной самую восхитительную часть его одежды, а именно – испанские брыжи, по отношению к которым и галстук и воротничок явно служили только переходом? То же относилось и к старинному цилиндру, который дед носил на улице; в более высокой действительности ему соответствовала фетровая шляпа на портрете. Прообразом же длинного и широкого сюртука маленькому Гансу Касторпу представлялась отороченная мехом мантия.

Поэтому, когда его однажды позвали, чтобы проститься с мертвым дедом, он сказал себе, что вот теперь дед покоится во всей полноте и законченности своего настоящего, совершенного облика. Это было в зале, в той самой зале, где они так часто сиживали друг против друга за обеденным столом. Теперь посередине стояли погребальные носилки, заваленные венками, и на них в гробу, обитом серебряным глазетом, лежал дед. Он боролся с воспалением легких долго и упорно, хотя, казалось, был лишь гостем в современной жизни и еще только примерялся к ней; и вот он уже покоился на парадном смертном ложе, и даже не скажешь: как победитель или как побежденный, во всяком случае лицо его выражало строгую умиротворенность, от борьбы с болезнью черты осунулись, нос заострился; тело было до половины накрыто одеялом, на котором зеленела пальмовая ветвь, голова была высоко поднята на подушках, так что подбородок особенно твердо упирался в брыжи; а в руки, полуприкрытые длинным кружевом манжет, – хотя пальцам искусно придали естественный вид, от них веяло неприкрытым холодом и безжизненностью, – в руки деда всунули распятие из слоновой кости, на которое сенатор, казалось, смотрел из-под опущенных век не отрываясь.

Ганс Касторп в начале последней болезни деда не раз заходил к нему в комнату, но когда дело приблизилось к развязке, уже там не бывал. Ребенка щадили и не хотели, чтобы он видел борьбу умирающего с болезнью, хотя эта борьба обострялась главным образом по ночам; поэтому он мог лишь догадываться о чем-то по удрученным лицам домочадцев, по заплаканным глазам старого Фите и постоянным приходам и уходам врачей; но событие, перед лицом которого он оказался, войдя в залу, мальчик понял так, что дед наконец торжественно освободился от своего промежуточного облика и обрел подлинный и

окончательный, а это можно было только приветствовать, хотя старик Фите и плакал, непрерывно тряся головой, да плакал и сам Ганс Касторп, так же как он плакал, глядя на свою столь недавно умершую мать, а потом на отца, который тоже лежал перед ним неподвижный и чужой.

Ибо смерть оказывала свое действие на душу и на умонастроение, особенно на умонастроение, маленького Ганса Касторпа уже в третий раз и притом – в столь юные годы. Поэтому для него не были новостью ни само зрелище смерти, ни впечатления от него, а, напротив, они были очень знакомы; и, невзирая на естественное огорчение, он, так же как и в первые два раза, и даже в большей степени, держался спокойно и рассудительно, без всякой слезливости. Еще не понимая практических последствий, которые эти события имели для его собственной жизни, и с беспечностью ребенка уверенный в том, что люди все-таки о нем позаботятся, мальчик, стоя у гроба близких, даже выказывал какое-то, тоже детское, равнодушие и озабоченную деловитость; и так как это происходило уже в третий раз и он чувствовал себя многоопытным, в нем сквозила преждевременная серьезность, хотя на этот раз он и плакал чаще от потрясения и легче заражался горем других, что было вполне естественно. Через три-четыре месяца после кончины отца он забыл о смерти; теперь он снова вспомнил о ней, и повторились тогдашние впечатления – совершенно те же и в те же минуты; но они заслоняли прошлые своим несравнимым своеобразием.

Если бы их проанализировать и заключить в слова, то эти впечатления можно было бы примерно выразить так. Со смертью для него соединялось благоговейное чувство чего-то глубокого, скорбного и прекрасного, то есть духовного, и вместе с тем ощущение чего-то совершенно противоположного, очень материального, очень плотского, о чем никак не скажешь, что оно прекрасно, глубоко, вызывает благоговение или хотя бы скорбь. Торжественно-духовное было выражено в пышном убранстве тела, в роскошных цветах, в пучках пальмовых ветвей, как известно символизирующих мир божественный, и еще яснее в распятии, лежавшем между мертвых пальцев того, кто был когда-то его дедом, в благословляющем Спасителе Торвальдсена, поставленном в головах покойника, и в канделябрах, которые высились по обе стороны гроба и сейчас тоже выглядели как-то по-церковному. Более точный и утешительный смысл всех этих предметов состоял, очевидно, в том, что дед окончательно возвратился к своему подлинному и истинному облику. Но, кроме того, все они, как заметил маленький Ганс Касторп, хотя не хотел в этом признаться, – особенно груды цветов и, главное, туберозы, которых было больше всего, – имели и другой смысл, другую, более практическую цель, а именно:

приукрасить, заглушить или не допустить до сознания мысль о том другом, что таила в себе смерть и что не было ни прекрасным, ни даже скорбным, а скорее чем-то почти непристойным, низменно те лесным.

Вероятно, из-за этого мертвый дед казался совсем чужим, и вовсе даже не дедом, а восковой куклой в натуральную величину, которую смерть подсунула вместо него; над ней и совершалась вся эта благоговейная и почетная церемония. Значит, тот, кто лежал перед ним, вернее то, что лежало перед ним, уже не было самим дедом, а лишь его оболочкой, и она – Ганс Касторп понимал это – состояла не из воска, а из особой материи, только из материи: отсюда – ее непристойность и почти полное отсутствие скорбности, ибо ее нет ни в чем, что связано с плотью и только с нею. И маленький Ганс Касторп рассматривал желтую, как воск, бледную и твердую материю, из которой состояла эта мертвая кукла в рост человека, рассматривал лицо и руки бывшего деда. Вот на его неподвижный лоб села муха и начала поднимать и опускать хоботок. Старый Фите осторожно согнал ее, стараясь при этом не коснуться лба, причем его лицо почтительно омрачилось, словно он не хотел, да и не должен был знать о том, что делает его рука; это выражение добродетельной строгости, видимо, относилось к тому, что дед был теперь только плотью и больше – ничем. Но муха, поднявшись в воздух и полетав, тут же снова опустилась на палец деда, неподалеку от распятия из слоновой кости. И в то время как это происходило, Гансу Касторпу почудилось, что он еще явственнее ощутил уже знакомый, легкий, но удивительно упорный запах, и этот запах пробудил в нем стыдное воспоминание об одном однокласснике, страдавшем неприятным для других недугом, почему все его сторонились; аромат поставленных совсем близко тубероз, видимо, должен был заглушить навязчивый запах, однако, несмотря на их пышность и строгость, это им не удавалось.

Мальчик несколько раз стоял у гроба: в первый раз – вдвоем со старым Фите, во второй – вместе с двоюродным дедом Тинапелем, виноторговцем, и обоими дядями – Джемсом и Петером, и потом еще в третий раз, когда у открытого гроба собралась на несколько минут группа по-праздничному одетых портовых рабочих, чтобы проститься с бывшим главою торговой фирмы «Касторп и сын». Затем состоялись похороны, зал был переполнен, и пастор Бугенхаген из церкви Св. Михаила, – он же крестил Ганса Касторпа, – облачившись в испанские брыжи, произнес надгробное слово, а затем, следуя в дрожках непосредственно за катафалком, за которым тянулся длиннейший хвост экипажей, беседовал с маленьким Гансом Касторпом. Потом кончился и этот отрезок жизни, и мальчик тут же попал в другой дом и другую обстановку – уже во второй раз за свою молодую жизнь.

Жизнь у Тинапелей и душевное состояние Ганса Касторпа

Вреда от этого никакого не произошло: мальчика взял к себе его опекун, консул Тинапель, и Гансу Касторпу не пришлось жалеть об этом, ни в отношении себя самого – это-то уж бесспорно, – ни в отношении его интересов, хотя о них он тогда еще не думал. Консул Тинапель, дядя покойной матери мальчика, стал управлять тем, что осталось после Касторпов, продал недвижимость, взял на себя ликвидацию фирмы «Касторп и сын, импорт и экспорт» и в результате выколотил из всех этих операций около четырехсот тысяч марок, что и составило наследство Ганса Касторпа; на эти деньги консул приобрел устойчивые бумаги, причем, ничуть не оскорбляя своих родственных чувств, в начале каждого квартала регулярно оставлял себе из поступавших процентов с этих бумаг два процента комиссионных.

Дом Тинапелей стоял в глубине большого сада, у Гарвестехудской дороги, и выходил на лужайку, где не разрешалось произрастать ни одной сорной травинке, на городской питомник роз и на реку.

Каждое утро консул отправлялся в свою контору, находившуюся в старом городе; хотя у него был отличный выезд, он совершал весь путь пешком, для моциона, ибо страдал приливами крови к голове, и в пять часов пополудни возвращался, тоже пешком, домой, после чего Тинапели в высшей степени культурно обедали. У консула Тинапеля были водянисто-голубые глаза навыкате и нос, покрытый сетью багровых жилок, на котором сидели золотые очки; человек он был солидный, одевался в лучшее английское сукно, носил седую шкиперскую бороду, а на отекшем мизинце левой руки перстень с крупным бриллиантом. Жена его давно умерла. У него было два сына – Петер и Джемс, один поступил во флот и редко приезжал домой, другой служил в виноторговле отца и должен был стать наследником фирмы. Хозяйство уже много лет вела некая Шаллейн, дочь золотых дел мастера из Альтоны; вокруг ее пухлых запястий неизменно белели накрахмаленные рюши, и она усердно заботилась о том, чтобы на завтрак и ужин подавалось как можно больше холодных блюд – крабов и лососины, угрей, гусиной грудинки и ростбифа с томатным соусом; она бдительно надзирала за наемными лакеями, когда у консула Тинапеля бывал званый обед без дам, и она же по мере сил старалась заменить маленькому Гансу Касторпу мать.

Ганс Касторп рос в ужасном климате, с ветрами и туманами, рос, если можно так выразиться, не снимая желтого резинового плаща, и чувствовал себя при этом очень хорошо. Правда, легкое малокровие у него наблюдалось уже с раннего детства, это говорил и доктор Хейдекинд и настаивал на том, чтобы за третьим завтраком, после школы, мальчику непременно давали добрый стакан портера – как известно, напитка весьма питательного; кроме того, доктор Хейдекинд приписывал ему кровообразующие свойства; во всяком случае, портер усмирял буйных духов жизни, просыпавшихся в теле Ганса Касторпа, и успешно содействовал его склонности «клевать носом», как выражался дядя Тинапель, говоря попросту – сидеть распустив губы и грезить наяву. Но, в общем, он был здоров и ловок, хорошо играл в теннис и греб, хотя, говоря по правде, предпочитал, вместо того чтобы самому налегать на весла, сидеть на уленхорстской пристани, потягивать хорошее вино и слушать музыку, созерцая освещенные лодки, между которыми, среди пестрых отражений, плавно скользили лебеди; и достаточно было послушать, как он чуть глуховатым, ровным голосом рассуждает обо всем спокойно и разумно с легким нижненемецким акцентом, достаточно было взглянуть на этого корректного блондина с тонко очерченным лицом, чем-то напоминавшим старинные портреты, и наследственным бессознательным высокомерием, которое сказывалось в некоторой суховатости и ленивой медлительности, – и никто не усомнился бы, что Ганс Касторп является крепким и подлинным порождением этой почвы, что он тут как нельзя более к месту; да и сам он, задай себе Ганс Касторп такой вопрос, ни на минуту в том не усомнился бы.

Ведь этой атмосферой большого приморского города, влажной, насыщенной запахами мировой торговли и сытой жизни, – этим воздухом дышали его отцы и деды, дышал им и он в полном единодушии с предками, спокойно и уверенно, считая, что иначе и быть не может. Он привык к испарениям воды, угля, смолы, к пряным ароматам разнообразнейших колониальных товаров, он видел, как в гавани огромные подъемные краны неторопливо, умно и с чудовищной мощью, словно подражая рабочим слонам, извлекают тонны грузов – мешки, тюки и ящики, бочки и баллоны – из чрева стоящих на якоре морских судов и переносят их в товарные вагоны и на склады. Он видел коммерсантов в желтых резиновых плащах, – такой же носил и он, – спешивших в полдень на биржу, где, как он знал, началась очередная горячка, и кто-нибудь из них мог легко быть поставлен в необходимость, чтобы поддержать свои кредиты, спешно разослать приглашения на званый обед. Он наблюдал (впоследствии его интересы были связаны именно с этой областью) суету на верфях, мамонтовые туши поставленных в доки судов, ходивших в Азию и Африку, высоких, словно башни,

с обнаженными винтами и килями, подпертых гигантскими сваями; чудовищно беспомощные на суше, они были осыпаны армиями казавшихся карликами рабочих, которые стругали, забивали гвозди, красили; под навесом эллингов, окутанных клубами тумана, высились остовы будущих кораблей, а инженеры, держа в руках конструкционные чертежи и таблицы Ленца, давали указания строителям. Все это были картины, знакомые Гансу Касторпу с детства, они вызывали в нем лишь ощущение чего-то привычного и родного, частью чего был он сам; причем ощущения эти достигали особенной силы, когда он с Джемсом Тинапелем или двоюродным братом Цимсеном, Иоахимом Цимсеном, посиживал воскресным утром в Альстерском павильоне, завтракая копченым мясом с булкой и стаканом старого портвейна, а затем, откинувшись на спинку стула, с упоением затягивался сигарой. Ибо его натура в том и сказывалась, что он любил хорошую жизнь и, невзирая на свою малокровную и утонченную наружность, жаждал, как ненасытный малыш груди матери, грубых и сочных радостей существования.

Легко и не без достоинства носил он бремя высокой цивилизации, которую господствующая верхушка местного демократического купечества передавала своим детям по наследству. Он был всегда опрятен, как только что вымытый младенец, и одевался лишь у того портного, который был признан молодыми людьми его круга. Небольшой, но тщательно помеченный инициалами запас белья, хранившийся в отделениях его английского шкафа, находился под неусыпным наблюдением Шаллейн; когда Ганс Касторп еще был студентом, он регулярно отправлял домой белье для стирки и починки (ибо твердо был убежден, что прилично умеют гладить только в Гамбурге), и если манжета одной из его нарядных шелковых рубашек оказывалась потертой, это могло искренне его расстроить. Руки у него были холеные, с нежной и свежей кожей, хотя по своей форме и не отличались особой аристократичностью; он носил платиновый браслет в виде цепочки и родовой дедовский перстень с печаткой; зубы у него были слабые, часто болели, и во рту кое-где поблескивали золотые пломбы.

Стоя и на ходу он слегка выставлял вперед нижнюю часть тела, почему и казался не очень стройным; но за столом держался безукоризненно. Если же он болтал с соседом (рассудительно и с легким нижненемецким акцентом), то, не сгибаясь, слегка повертывался к нему корпусом и чуть касался локтями стола, когда разнимал птицу или особым ножом и вилочкой искусно извлекал розовое мясо из клешни омара. Окончив трапезу, он прежде всего испытывал потребность ополоснуть пальцы в мисочке с душистой водой, затем в русской папиросе, не оплаченной пошлиной и купленной с рук в порядке безобидной

контрабанды. За папиросой обычно следовала сигара весьма приятной бременской марки «Мария Манчини», о которой еще будет речь впереди и чей ядовито-пряный вкус действовал так успокоительно, смешиваясь с вкусом кофе. Желая уберечь свои запасы табачных изделий от вредного воздействия парового отопления, Ганс Касторп хранил их в погребе, куда и спускался каждое утро, чтобы положить в портсигар дневную порцию курева. И он бы с явным неудовольствием стал есть масло, поданное куском, а не в виде рифленых шариков.

Читатель видит, что мы стараемся вспомнить все, говорящее в пользу Ганса Касторпа, но в своих оценках не хватили через край и показываем его не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле. Ганс Касторп не гений и не дурак, и если мы избегаем называть его «посредственностью», то по причине, не имеющей никакого отношения к его уму и весьма мало – к его скромной особе; мы делаем это из уважения к его судьбе, которой склонны придавать сверхличное значение. Мыслительных способностей Ганса Касторпа вполне хватало, чтобы удовлетворять требованиям реальной гимназии, притом без особых усилий, да и никакие обстоятельства, никакая предстоящая ему задача не принудили бы его к чрезмерным усилиям: не столько потому, что он боялся повредить себе, сколько оттого, что он не видел никаких причин для такого перенапряжения, вернее – бесспорных причин; и, может быть, мы потому и не назвали бы его посредственностью, что он каким-то образом ощущал отсутствие этих причин.

Человек живет не только своей личной жизнью, как отдельная индивидуальность, но – сознательно или бессознательно – также жизнью целого, жизнью современной ему эпохи; и если даже он считает общие и внеличные основы своего существования чем-то безусловно данным и незыблемым и далек от нелепой мысли критиковать их, как был далек наш Ганс Касторп, то все же вполне возможно, что он смутно ощущает их недостатки и их воздействие на его нравственное самочувствие. Перед отдельным человеком могут стоять самые разнообразные задачи, цели, надежды и перспективы, и он черпает в них импульсы для более высоких трудов и усилий; но если в том внеличном, что окружает его, если, несмотря на всю внешнюю подвижность своей эпохи, он прозревает в самом существе ее отсутствие всяких надежд и перспектив, если ему открывается ее безнадежность, безвыходность, беспомощность и если на все – сознательно или бессознательно – поставленные вопросы о высшем, сверхличном и безусловном смысле всяких трудов и усилий эта эпоха отвечает глухим молчанием, то как раз у наиболее честных представителей человеческого рода такое молчание почти неизбежно вызывает подавленность, оно влияет не только на душевно-нравственный мир личности,

но и каким-то образом на ее организм, на ее физический состав. Если эпоха не дает удовлетворительных ответов на вопросы «зачем», то для достижений, превосходящих обычные веления жизни, необходимы либо моральное одиночество и непосредственность, – а они встречаются весьма редко и по существу героичны, – либо мощная жизненная сила. Ни того, ни другого у Ганса Касторпа не было, вот почему его, вероятно, все же следовало назвать посредственностью, хотя ничуть не в обидном смысле этого слова.

Все это характерно не только для внутренней жизни данного молодого человека в его школьные годы, но и для последующих лет его жизни, когда он уже изберет свою гражданскую профессию. Что касается его успехов при прохождении гимназического курса, то следует отметить, что два раза ему даже пришлось остаться на второй год. Но, в общем, ему помогло его происхождение, городское воспитание, а также довольно значительные способности к математике, хотя и не ставшие страстью. И когда он получил свидетельство вольноопределяющегося одногодичника, то решил окончить гимназический курс, говоря по правде, главным образом потому, что так можно было продлить привычное и неопределенное состояние, в котором он находился столько лет, и оттянуть решение вопроса о том, чем же больше всего хочется стать Гансу Касторпу, ибо он этого еще не знал даже в старшем классе, и когда потом наконец решил (сказать, что решил именно он, было бы, пожалуй, преувеличением), то почувствовал, что с таким же успехом мог бы выбрать и другую профессию.

Одно было верно – корабли ему всегда ужасно нравились. Еще маленьким мальчиком покрывал он страницы своих блокнотов карандашными рисунками рыбачьих катеров, лодок с овощами и пятимачтовиков, и когда в пятнадцать лет ему была дана возможность, сидя на привилегированных местах, любоваться спуском двухвинтового почтового парохода «Ганза», построенного на верфях «Блом и Фосс», он после этого нарисовал акварелью и со всеми деталями это стройное судно, причем рисунок оказался очень удачным, и консул Тинапель даже повесил его у себя в конторе; особенно искусно и любовно были изображены прозрачные морские волны цвета бутылочного стекла, и кто-то сказал консулу Тинапелю, что у Ганса Касторпа – талант, из него может выйти хороший маринист; мнение это консул спокойно мог передать своему воспитаннику, ибо Ганс Касторп, услышав его, только добродушно рассмеялся: его ничуть не прельщали ни беспрерывная работа, ни полуголодное существование, на которое обречены художники.

«Средства у тебя небольшие, – говаривал не раз дядя Тинапель, – мои деньги в основном перейдут к Джемсу и Петеру, то есть они останутся в деле, а Петер будет получать ренту. То, что принадлежит тебе, помещено прочно и приносит тебе устойчивый доход. Но существовать на проценты в наше время – дело нелегкое, если не иметь по крайней мере в пять раз больше, чем ты; а чтобы здесь, в городе, играть известную роль и жить, как ты привык, нужно еще прилично зарабатывать, запомни это, сынок».

Ганс Касторп запомнил и стал искать профессию, которая придала бы ему вес и в собственных глазах, и в глазах людей; а когда он наконец выбрал – это случилось по инициативе старика Вильмса, компаньона фирмы «Тундер и Вильмс», который однажды, за субботним вистом, сказал консулу Тинапелю, что хорошо бы Гансу Касторпу изучить кораблестроение – это же идея – и поступить к нему, а он уж за мальчиком присмотрит; юноша тут же проникся глубоким уважением к своей профессии, решив, что хотя она чертовски тяжелая и ответственная, зато превосходная, совершенно необходимая и замечательная и уж во всяком случае больше подходит к его миролюбивой натуре, чем профессия, избранная его двоюродным братом Цимсеном, сыном сводной сестры его покойной матери, жаждавшим непременно стать военным. Притом у Иоахима Цимсена слабые легкие, вот он и стремится к деятельности, при которой много бываешь на воздухе и о серьезной, напряженной умственной работе едва ли может быть речь, и для него эта профессия – самая подходящая, с легким пренебрежением говорил себе Ганс Касторп. Ибо почтительно склонялся перед трудом, хотя сам легко уставал от работы.

Здесь мы принуждены возвратиться к уже высказанным ранее мыслям, к предположению, что воздействие эпохи на отдельного человека захватывает даже его физическую организацию. Как мог бы Ганс Касторп не уважать труд? Это было бы просто противоестественно. Весь строй окружающей жизни заставлял его относиться к труду как к чему-то заслуживающему самого неоспоримого и глубокого почитания; да, в сущности, и не было ничего, достойного большего почитания, труд служил как бы основным мерилом человека, его пригодности или непригодности для жизни, он являлся абсолютным принципом эпохи, он, так сказать, сам говорил за себя. Поэтому почитание труда было у Ганса Касторпа прямо-таки религиозным и, поскольку он отдавал себе в том отчет, безоговорочным. Другой вопрос – любил ли он труд; а любить его он не мог, как ни уважал, и по той простой причине, что труд не шел ему впрок. Напряженная работа отзывалась на его нервах, он скоро уставал и откровенно сознавался, что, говоря по правде, предпочитает досуг, ничем не отягченный, не обремененный свинцовым грузом тяжелой работы, свободное

время, не ограниченное препятствиями, которые надо преодолевать с зубовным скрежетом. Это противоречие в его отношении к труду, если говорить вполне серьезно, должно было как-то разрешиться. Быть может, его тело, так же как и дух, – сначала дух, а через него и тело, – скорее согласились бы работать с большей радостью и упорством, если бы в сокровенных глубинах души – тут для него самого было много неясного – Ганс Касторп поверил бы в труд как в безусловную ценность, как в самоочевидную основу жизни и на этом успокоился бы. Здесь опять возникает вопрос о том, «посредственность» ли он, или стоит выше посредственности; однако мы предпочли бы не связывать себя определенным ответом, ибо вовсе не хотим быть панегиристами, воспевающими хвалу Гансу Касторпу, и готовы допустить, что для него труд, быть может, являлся просто некоторой помехой к ничем не омраченному наслаждению «Марией Манчини».

Военная служба его не привлекала. Ей противилась его внутренняя природа, она и удержала его от этого шага. Возможно также, что военный врач Эбердинг, бывавший в доме у Гарвестехудской дороги, в разговоре с Тинапелем был поставлен в известность о том, что, если бы молодому Касторпу пришлось взять в руки оружие, это явилось бы серьезным препятствием для его занятий наукой, начатых за пределами Гамбурга.

И вот скоро его голова, работавшая неторопливо и хладнокровно, ибо Ганс Касторп и в другом городе сохранил успокаивающую привычку пить во время завтрака портер, – скоро его голова уже была набита всякими сведениями по аналитической геометрии, дифференциальному исчислению, механике, начертательной геометрии и графостатике; он стал делать расчеты водоизмещения судна с грузом и без груза, остойчивости, дифферентовочного сдвига и метацентра, хотя иной раз все это давалось ему нелегко. Технические чертежи, все эти шпанты, ватерлинии и продольные разрезы получались у него не так удачно, как некогда получилось изображение «Ганзы», плывущей в открытом море; но если надо было усилить абстрактную наглядность с помощью чувственной, наложить тушью тени и раскрасить поперечные разрезы яркими, материальными красками, Ганс Касторп делал это лучше, чем большинство товарищей.

Когда он приезжал домой на каникулы, то каждому становилось ясно, что этот очень опрятный, очень хорошо одетый молодой человек с маленькими рыжеватыми усиками и несколько сонливым лицом молодого патриция, несомненно, достигнет почетного положения в жизни, и люди, которые

интересовались делами города и умели разбираться в семейных и личных обстоятельствах, – а таких в самоуправляющемся городе-государстве обычно бывает большинство, – эти сограждане испытующе поглядывали на него, спрашивая себя, до какой же роли в обществе дорастет со временем молодой Касторп. Ведь он унаследовал определенные традиции, принадлежность к старинному хорошему роду, и, без сомнения, настанет день, когда с его особой придется считаться как с политическим фактором. Он будет членом городской думы и депутатом, будет издавать законы, ему выпадет на долю почетное участие в государственных заботах, он войдет в какой-нибудь административный отдел, может быть, в финансовую комиссию или в строительную, к его мнению будут прислушиваться и считаться с ним при голосованиях. Было также небезынтересно, к какой же партии примкнет со временем молодой Касторп! Говорят, наружность обманчива, но его внешний облик именно таков, какого не бывает у людей, на которых могли бы рассчитывать демократы; кроме того – он вылитый дед. Последует ли внук его примеру и станет тормозом прогресса, консервативным элементом? Могло быть так, а могло быть и наоборот. В конце концов он же инженер, будущий кораблестроитель, участвующий в создании международных связей, представитель техники. Поэтому не исключено и то, что Ганс Касторп примкнет к радикалам, станет бунтовщиком, невежественным разрушителем старинных зданий и пейзажных красот, как не знающий удержу еврей или лишенный пиетета американец, предпочитающий постепенному и естественному прогрессу жизненных условий резкий разрыв с почтенными традициями прошлого и готовый вовлечь государство в рискованные эксперименты; это тоже могло быть. Заложена ли в его натуре уверенность, что «их благоразумия» отцы города, перед которыми парные часовые у входа в ратушу берут на караул, знают все лучше всех, или он будет склонен поддерживать в городской думе оппозицию? В его голубых глазах под рыжеватыми бровями нельзя было прочесть ответы на эти вопросы, вызывавшие любопытство сограждан, да этих ответов не знал и сам Ганс Касторп, ибо был еще не исписанной жизнью страницей.

Когда он начал свое путешествие, во время которого мы с ним познакомились, ему шел двадцать третий год. Позади остались четыре семестра, проведенные им в Данцигском политехникуме, и еще четыре – в механических высших школах Брауншвейга и Карлсруэ; он только что одолел основные экзамены, – правда, без особого блеска и торжественных тушей, однако вполне прилично, – и намеревался поступить к «Тундеру и Вильмсу» инженером-практикантом, дабы увенчать свои познания необходимым практическим опытом. Но тут его путь неожиданно свернул в сторону.

Перед главными экзаменами ему пришлось работать упорно и напряженно, и когда он, сдав их, вернулся домой, то казался еще более вялым и бледным, чем бывают обычно юноши его типа. Всякий раз, когда доктор Хейдекинд его видел, он сердился и требовал, чтобы Ганс Касторп переменил климат, и притом радикально. Нордернеем или Виком на Фёре в этот раз не поможешь, и если хотят знать его мнение, то Гансу Касторпу, перед тем как поступать на верфи, следовало бы провести недельки две-три в высокогорной местности.

Все это прекрасно, сказал консул Тинапель своему племяннику и воспитаннику, но тогда на это лето их дороги разойдутся, ибо его, консула Тинапеля, никакими силами не затащишь в горы. Горы не для него, ему нужно приличное атмосферное давление, иначе у него будут приливы. Пусть уж Ганс Касторп отправляется туда один. Пусть воспользуется случаем и навестит Иоахима Цимсена.

Предложение это возникло совершенно естественно: дело в том, что Иоахим Цимсен был болен, – не так, как Ганс Касторп, а по-настоящему, и притом настолько серьезно, что все переполошились. С детства был он предрасположен к катарам и лихорадкам, недавно в его мокроте действительно обнаружили кровь, и ему пришлось сломя голову мчаться в Давос, к его величайшему горю и досаде, ибо он стоял почти у цели своих желаний. Подчиняясь воле семьи, он два-три семестра изучал юридические науки, но затем, следуя неудержимому влечению, все же подал заявление в юнкерское училище и уже был принят. И вот он сидит шестой месяц в интернациональном санатории «Берггоф» (главный врач – гофрат доктор Беренс), где скука смертная, как он писал в открытках. И если Ганс Касторп перед поступлением к «Тундеру и Вильмсу» хочет сделать хоть что-нибудь для своего здоровья, то пусть тоже приедет сюда наверх и немного развлечет своего бедного кузена, это будет самое лучшее для обоих.

Наступила середина лета, когда Ганс Касторп наконец решился на эту поездку; уже подходил к концу июль.

Он ехал на три недели.

Глава третья

Достойная омраченность

Ганс Касторп так устал накануне, что боялся проспать, и поднялся даже раньше, чем следовало, зато мог не спеша отдаться своим утренним привычкам; то были привычки высокоцивилизованного человека, в которых главную роль играли резиновый тазик, деревянная мыльница с зеленым лавандовым мылом и соломенный помазок; кроме того, предстояли не только заботы о чистоте и уходе за телом – надо было также вынуть вещи из чемодана и разложить их. Водя посеребренной бритвой по намыленным душистой пеной щекам, он вспомнил свои сумасбродные сны и, покачивая головой, снисходительно улыбнулся с тем чувством превосходства, с каким человек, бреющийся при дневном свете разума, вспоминает ночную чепуху сновидений. Вполне отдохнувшим он себя не чувствовал, однако молодой день освежил его. Вытирая руки, он вышел с напудренными щеками, в фильдекосовых кальсонах и красных сафьяновых туфлях на балкон, который тянулся вдоль всего этажа и лишь против каждой комнаты был как бы поделен на ложи не доходившими до перил стенками из матового стекла. Утро было свежее и мглистое. На ближних вершинах неподвижно лежали длинные пласты тумана, а на более отдаленных хребтах висели пухлые громады туч – белых и серых. Местами приоткрывались полосы и прогалины голубого неба, и когда через них падал солнечный луч, дома поселка в долине ярко вспыхивали белизною на фоне покрывавших склоны темных хвойных лесов. Откуда-то доносилась утренняя музыка, вероятно, из того же отеля, где вчера вечером был концерт. Смягченные расстоянием, звучали аккорды хорала, потом загремел марш, и Ганс Касторп, который очень любил музыку, ибо действовала она на него совершенно так же, как портер за завтраком – то есть глубоко успокаивала и слегка оглушала, погружая в какое-то дремотное состояние, – с удовольствием слушал, склонив голову набок, причем рот у него приоткрылся, глаза чуть покраснели.

Внизу вилась дорога, поднимавшаяся к санаторию, по ней он вчера вечером приехал. В сырой траве откоса на коротком стебле распустилась горечавка, похожая на звезду. Часть площадки была превращена в сад и обнесена оградой; он увидел усыпанные гравием дорожки, цветочные клумбы, а под высокой елью – искусственный грот. На крытой жестью галерее, выходившей на южную сторону, стояли шезлонги, а перед нею торчал красновато-коричневый шест, на котором время от времени развевался флаг фантастической расцветки – белый с зеленым, и эмблемой медицины – змеей, обвивающей жезл.

В саду Ганс Касторп заметил женщину, уже немолодую, с угрюмым, почти трагическим лицом. Она была вся в черном, спутанные черные с проседью волосы прикрывал черный прозрачный шарф; женщина быстрым и равномерным шагом ходила взад и вперед по дорожкам, сгибая колени, деревянно опустив руки, глядя из-под насупленного лба в поперечных морщинах прямо перед собой черными, как угли, глазами, под которыми обозначились мешки. Ее уже стареющее, по-южному бледное лицо с большим, горестно кривившимся ртом напоминало Гансу Касторпу портрет знаменитой трагической актрисы, который он однажды видел, и ему стало жутко оттого, как эта черная, бледная женщина, видимо, сама того не замечая, старается шагать в такт гремевшей снизу маршевой музыке.

С задумчивым участием смотрел на нее Ганс Касторп, и ему казалось, что от этой скорбной фигуры потускнел свет утреннего солнца. Одновременно он воспринимал и многое другое – какие-то звуки в комнате слева, где, по словам Иоахима, жила русская супружеская чета; эти звуки также не соответствовали веселому свежему утру и словно пачкали его чем-то липким. Ганс Касторп вспомнил, что уже вчера вечером слышал нечто подобное, но из-за крайней усталости не обратил на это особого внимания. Теперь он явственно различал какую-то возню, хихиканье, пыхтенье, и вскоре непристойный характер этой возни стал молодому человеку совершенно очевиден, хотя вначале он из добродушия и старался все объяснить самым безобидным образом. Впрочем, добродушие это можно было истолковать различно: более пресно – как чистоту души, более возвышенно – как суровую стыдливость, более уничижительно – как лицемерие и боязнь правды и даже как благочестивый и мистический страх перед грехом; впрочем, в чувствах Ганса Касторпа было всего этого понемножку. Его лицо достойно омрачилось, он как бы желал подчеркнуть, что не хочет, да и не должен знать ничего о подобных вещах: выражение добродетельной скромности, хотя и не слишком оригинальное, появлялось у него в совершенно определенных случаях.

С той же добродетельной миной он ушел с балкона, не желая больше подслушивать, ибо происходившее за стеной считал событием очень серьезным, почти потрясающим, хотя здесь оно и совершалось с хихиканьем. Однако в комнате возня стала еще слышнее. Супруги, видимо, гонялись друг за другом среди мебели и вещей, вот упал стул, они схватили другой, кажется, наконец обнялись, затем он услышал шлепки и поцелуи, а в виде аккомпанемента к этой незримой сцене из долины неслись музыкальные фразы пошлого, захватанного вальса. Ганс Касторп стоял с полотенцем в руке и, против воли, снова

прислушивался. И вдруг под слоем пудры густо покраснел: то, что явно подготовлялось, началось, любовная игра, без всяких сомнений, сменилась животным актом.

«Боже мой! Ах, черт! – подумал он, отвернулся и принялся заканчивать свой туалет, стараясь производить как можно больше шума. – Что ж, в конце концов они супруги, – продолжал он свои размышления, – пусть целуются на здоровье, с этой стороны все в порядке. Но среди бела дня, когда все проснулись, это уж слишком! Мне кажется, они и вчера вечером вели себя так же. А потом – ведь они больны, раз они здесь, или по крайней мере один из них болен, и следовало бы хоть немного поберечься. Но самое скандальное в том, что стены такие тонкие и все так отчетливо слышно, это просто безобразие! Когда строили, очевидно, гнались за дешевизной, за постыдной дешевизной! Неужели я потом встречусь с этими людьми и меня даже представят им? Это было бы в высшей степени неприятно». Но тут Ганс Касторп удивился другому, он почувствовал, что румянец, окрасивший перед тем его только что побритые щеки, на них остался, а также ощущение обжегшей лицо горячей волны; это был тот же сухой жар лица, замеченный молодым человеком еще вчера вечером; жар во время сна исчез, а сегодня, словно воспользовавшись случаем, снова появился, что отнюдь не смягчило отношения Ганса Касторпа к соседям: выпятив губы, он презрительно пробормотал нечто весьма резкое по их адресу и снова принялся освежать лицо водой, но сделал ошибку, ибо раздражающее ощущение жара усилилось. Поэтому, когда двоюродный брат сигнализировал ему, постучав в стенку, голос Ганса Касторпа дрожал от досады, и на вошедшего Иоахима он не произвел впечатление человека, отдохнувшего за ночь и полного утренней бодрости.

Завтрак

– Здравствуй, – сказал Иоахим. – Ну как прошла твоя первая ночь здесь наверху? Ты доволен?

Иоахим был уже готов для прогулки – спортивный костюм и толстые башмаки, пальто перекинуто через руку, в боковом кармане явственно обрисовывается плоская фляжка. Он и сегодня был без шляпы.

– Спасибо, – отозвался Ганс Касторп, – ничего. О дальнейшем судить не берусь. Правда, сны я видел довольно сумбурные, а потом у дома тот недостаток, что стены очень звукопроницаемы, это неприятно. А кто та черная вон там, в саду?

Иоахим тотчас понял, кого он имеет в виду.

– А, «Tous les deux»[3 - «Оба» (фр.).], – сказал он, – так у нас ее все зовут, она только это и говорит. Понимаешь, она мексиканка, ни слова по-немецки, да и по-французски – только чуть-чуть. Живет в санатории уже пять месяцев, у нее тут старший сын, совершенно безнадежный случай, теперь ему уже недолго осталось жить, микробы сидят у него везде, он, можно сказать, насквозь отравлен, в последней стадии эта болезнь похожа на тиф, говорит Беренс; во всяком случае, для всех, кто имеет отношение к юноше, это ужас. А две недели тому назад сюда приехал второй сын, чтобы проститься с братом, прямо красавец парень, как и тот, оба они красавцы, огненные глаза, дамы прямо с ума посходили. Потом оказалось, что он и внизу уже покашливал, а вообще был весел и бодр. Но представь себе, как только очутился здесь – сразу температура 39,5, страшный озноб, его сейчас же, понимаешь, укладывают в постель, и если он когда-нибудь поднимется, говорит Беренс, это будет чудо, какое-то особое везение. Его давно следовало отправить сюда наверх… Да, вот с тех пор мать и бродит по саду, если не сидит у него, и когда с ней заговоришь, она всегда отвечает одно: «Tous les deux», ибо знает только эти слова, а здесь нет сейчас никого, кто бы говорил по-испански.

– Вот оно что, – пробормотал Ганс Касторп, – интересно, скажет она мне то же самое, если я с ней познакомлюсь? Это звучало бы очень странно… то есть комично и страшно, – продолжал он и вдруг испытал те же ощущения, что и накануне: веки отяжелели и горят, как будто он долго плакал, а в глазах появился тот же блеск, который был вызван вчера поразившим его кашлем австрийца. И вообще у него возникло такое чувство, что возобновилась связь со вчерашним днем, что он опять вошел в курс здешней жизни, которая после его пробуждения была временно как бы прервана. Впрочем, он готов, заявил Ганс Касторп, брызнул на платок лавандовой водой, несколько раз приложил его ко лбу и к скулам. – Если хочешь, мы можем tous les deux идти завтракать, – пошутил он с какой-то вызывающей игривостью, а Иоахим вместо ответа мягко взглянул на него и загадочно улыбнулся; улыбка была меланхолической и слегка насмешливой, но почему – он, видимо, решил оставить про себя. Удостоверившись, что сигары при нем, Ганс Касторп взял трость, пальто, надел шляпу – из упрямства, ибо слишком крепко был убежден в том, что знает, как

должен выглядеть цивилизованный человек, и не мог так легко на какие-то три недели отменить свои взгляды и перенять новые, чуждые ему обычаи, – и двоюродные братья отправились завтракать; они спустились по лестнице и пошли коридорами, причем Иоахим время от времени указывал на дверь той или иной комнаты и называл фамилии обитателей – немецкие и другие, чуждо звучавшие иностранные, сопровождая это короткими пояснениями относительно характера данного лица и серьезности его заболевания.

Иные уже возвращались после завтрака, и когда Иоахим здоровался с кем-нибудь, Ганс Касторп вежливо приподнимал шляпу. Он был смущен и нервничал, как обычно нервничают молодые люди, когда должны предстать перед большим обществом совершенно чужих им людей, к тому же его мучило сознание, что у него мутные глаза и красное лицо, хотя это было верно только отчасти. Он был скорее бледен.

– Да, чтобы не забыть! – вдруг проговорил он с какой-то непонятной горячностью. – Ты вполне можешь представить меня той даме в саду, если только это удобно, я ничего не имею против. Пусть говорит мне свое «tous les deux», ничего, я же подготовлен, я понимаю и отнесусь к этим словам как надо. А с русской парой я не желаю знакомиться, слышишь? Категорически не желаю. Это невоспитанные люди, и если уж я вынужден прожить три недели рядом с ними и нельзя устроить иначе, то я знать их не хочу и имею на это полное право, заявляю тебе со всей решительностью.

– Хорошо, – ответил Иоахим. – Разве они тебе так мешали? Да, они до известной степени варвары – словом, нецивилизованны, я же тебя предупреждал. Он всегда приходит к столу в кожаной куртке, до того заношенной, что я просто удивляюсь; почему Беренс не сделает ему замечания. Она тоже не вполне прилична, хотя носит шляпу с перьями… Впрочем, можешь не беспокоиться, они сидят далеко от нас – за «плохим» русским столом, ибо есть еще «хороший» русский стол, где сидят только русские аристократы, – и едва ли тебе придется с этой парой встретиться, даже если бы ты и захотел. Тут вообще нелегко заводят знакомства, хотя бы по одному тому, что среди нас очень много иностранцев; у меня у самого мало знакомых, несмотря на то что я здесь давно.

– Кто же из них двух болен? – спросил Ганс Касторп. – Он или она?

– Кажется, он, да, конечно, только он, – ответил Иоахим с явной рассеянностью, в то время как они снимали верхнее платье в гардеробе столовой. Затем они

вошли в просторный светлый зал с невысоким сводчатым потолком; зал был полон жужжаньем голосов и звоном посуды, «столовые девы» бегали туда и сюда с кофейниками, над которыми вился пар. В зале стояло семь столов в продольном направлении и только два – поперек. Каждый стол предназначался для десяти человек, но, судя по числу приборов, не все места были заняты. Ганс Касторп сделал несколько шагов в сторону и оказался перед своим местом: ему накрыли на короткой стороне среднего стола, стоявшего между двумя поперечными. Взявшись за спинку стула, молодой человек церемонно и приветливо поклонился своим сотрапезникам, с которыми Иоахим его тут же торжественно познакомил, но едва ли разглядел их лица, и тем менее дошли до его сознания их фамилии. Только фамилия и внешний облик фрау Штёр запомнились ему, запомнилось красное лицо и жирные пепельно-белокурые волосы. В невежественность суждений фрау Штёр поверить было нетрудно, ибо выражение ее лица говорило о явной глупости и ограниченности. Молодой человек сел за стол, с удовольствием отметив, что и первый завтрак здесь считается такой же серьезной трапезой, как обед или ужин.

На столе стояли горшочки с мармеладом и медом, мисочки с рисовой и овсяной кашей, тарелки с омлетом и холодным мясом; особенно щедро было подано масло, и кто-то уже снял стеклянный колпак, прикрывавший швейцарский сыр «со слезкой», чтобы отрезать себе кусок, а посреди стола высилась ваза с сушеными и свежими фруктами. «Столовая дева» в черном и белом осведомилась у Ганса Касторпа, что ему угодно: какао, кофе или чай. Она была совсем маленькая, словно девочка, со старообразным длинным личиком, – да это же карлица, решил он с испугом. Он взглянул на двоюродного брата, но тот лишь вздернул плечи и брови, словно хотел сказать: «Ну и что же?» Поэтому Ганс Касторп склонился перед силой фактов и с подчеркнутой вежливостью, именно потому, что перед ним была карлица, попросил чаю и принялся за рисовую кашу с сахаром и корицей, причем его взгляд скользил и по другим кушаньям, которых ему хотелось испробовать, а также по сидевшим за семью столами пациентам; они ведь были коллегами Иоахима, его товарищами по несчастью, и все носили в себе ту же болезнь; сейчас они оживленно болтали, поглощая завтрак.

Зал был обставлен в стиле модерн, вносящем в самую деловитую простоту штрихи некоторой фантастики. Он был довольно длинный, но не очень широкий, вокруг шло подобие крытой галереи, где стояли серванты; широкие арки этой галереи были обращены внутрь, к столам. Столбы, поддерживающие арки, были до половины обшиты деревом, обработанным под сандаловое, и выше – побелены, так же как верхняя часть стен и потолок, и украшены шаблонами в

виде веселых пестрых полос, повторявшихся и на широких подпружных выгибах свода. Над столами поблескивало несколько люстр из яркой латуни; каждая – в виде трех лежащих друг над другом кругов, связанных между собой изящным металлическим плетением; на нижнем, словно маленькие луны, висели матовые тюльпаны электрических ламп. В зале было четыре стеклянных двери – две на дальнем конце, они вели на веранду, третья слева – прямо в холл и, наконец, четвертая – в вестибюль, через нее вошел Ганс Касторп, ибо Иоахим провел его по другой лестнице, чем вчера вечером.

Справа от Ганса Касторпа сидело тщедушное создание в черном, с лиловатым цветом лица и тускло горевшими щеками; оно пило кофе и намазывало масло на булку; он решил, что это швея или домашняя портниха, оттого что искони этот образ связывался для него с кофе и намазанной маслом булкой. Слева его соседкой была барышня англичанка, тоже не первой молодости, очень некрасивая, с иссохшими, словно озябшими пальцами; она читала написанные круглым почерком письма с родины и прихлебывала кроваво-красный чай. За ней сидел Иоахим, потом фрау Штёр, облаченная в клетчатую шерстяную блузу.

Опершись на локоть, она держала сжатую в кулак левую руку подле своей щеки, что не мешало ей кушать, и, видимо, старалась придать себе во время разговора высокообразованный вид, вздергивала верхнюю губу, открывая узкие и длинные заячьи зубы. Вскоре подле нее уселся молодой человек с жидкими усиками и таким выражением лица, словно у него во рту было что-то очень невкусное, и принялся за еду в глубоком молчании. Он вошел, когда Ганс Касторп уже сидел, затем, ни на кого не глядя, опустил подбородок на грудь, приветствуя соседей по столу, и занял свое место, показывая решительное нежелание знакомиться с новым обитателем санатория. Может быть, он был слишком болен, чтобы еще придавать значение таким условностям или вообще интересоваться окружающими. На несколько мгновений против него присела на стул молодая девушка, очень светлая блондинка. Она вылила в тарелку бутылку простокваши, быстро съела ее, загребая ложкой, и тут же снова удалилась.

Разговор за столом отнюдь не был оживленным. Иоахим болтал из вежливости с фрау Штёр, он осведомился о том, как она себя чувствует, и выразил корректное сожаление по поводу ее ответа, что можно было бы желать лучшего. Она жаловалась на «вялость». «Я такая вялая», – говорила она, растягивая слова, и при этом кривлялась, как самая некультурная женщина. Когда она встала, у нее уже было 37,3, что же будет к вечеру! Домашняя портниха сообщила, что у нее тоже такая температура, но она, наоборот, чувствует какое-то возбуждение,

какую-то тревогу, непрерывное беспокойство, как будто ей предстоит что-то необыкновенное и решающее, хотя ничего подобного нет, это чисто физическое волнение, без каких-либо причин. Она, видимо, все же не была домашней портнихой, ибо выражалась очень правильно, пользуясь почти научным языком. Однако Ганс Касторп нашел эту возбужденность или хотя бы разговор о ней чем-то неуместным, почти неприличным для столь ничтожной и невзрачной особы. Он спросил у портнихи, а потом у фрау Штёр, давно ли они здесь наверху (оказалось, что первая – пять месяцев, вторая – семь), призвал на помощь все свои скудные познания в английском языке и осведомился у соседки справа, что за чай она пьет (это был настой шиповника) и приятен ли он на вкус, на что она даже с жаром заверила его, что очень вкусен, а потом стал смотреть в зал, где одни входили, другие выходили: на первый завтрак не обязательно было являться всем одновременно.

Вначале Ганс Касторп опасался каких-либо тягостных впечатлений, но вынужден был разочароваться: здесь, в столовой, все протекало очень спокойно и не было чувства, что находишься в обители горя. Загорелые молодые люди обоего пола появлялись в столовой, напевая, разговаривали с «девами» и набрасывались на завтрак, обнаруживая при этом могучий аппетит. Были здесь и более зрелые люди, супружеские пары, целое семейство с детьми, говорившее по-русски, были подростки. Почти на всех женщинах он видел обтягивающие фигуру вязаные кофточки из шерсти или шелка – так называемые свитеры, белые и цветные, с отложным воротником и боковыми карманами, и когда женщины стояли, засунув руки в эти карманы, и болтали, они казались очень изящными. За иными столами среди завтракающих по рукам ходили фотографии, недавние, бесспорно сделанные самими пациентами; за другими обменивались почтовыми марками. Больные говорили о погоде, о том, как они спали, какая у кого оказалась температура, когда они держали во рту градусник. Большинство были веселы, – вероятно, без особой причины, а лишь потому, что их не тревожили непосредственные заботы и они находились в обществе многих людей. Правда, кое-кто сидел, подперев голову руками, глядя перед собой невидящим взором. Но им не мешали глядеть перед собой и не обращали на них внимания.

Вдруг Ганс Касторп вздрогнул от обиды и негодования. Грохнула одна из дверей, та, которая находилась слева и вела прямо в холл: кто-то дал ей самой захлопнуться или даже пустил ее с размаху, притом с таким шумом, который Ганс Касторп не терпел, ненавидел с детства. Может быть, ненависть была вызвана его воспитанием, может быть, это была врожденная идиосинкразия, но он не выносил хлопанья дверями и способен был, кажется, прибить всякого, кто провинился бы в этом у него на глазах. Кроме того, верхняя часть двери

состояла из небольших стекол, поэтому хлопанье дверью сопровождалось еще звоном и дребезгом. «Черт возьми, – подумал Ганс Касторп в бешенстве, – что за треклятая небрежность!» Но тут с ним заговорила портниха, и ему так и не удалось установить, кто именно совершил столь возмутительное деяние. И когда он ответил портнихе на ее вопрос, морщины, залегшие между его белокурыми бровями, не разгладились и с лица не сошло страдальческое выражение.

Иоахим осведомился относительно врачей; да, они уже были здесь, отозвался кто-то, и ушли в ту минуту, когда появились двоюродные братья. Тогда и ждать незачем, сказал Иоахим. В течение дня он, конечно, найдет случай представить им Ганса Касторпа. Однако в дверях они почти столкнулись с гофратом Беренсом, который в сопровождении доктора Кроковского стремительно входил в столовую.

– Гопля, осторожнее, господа! – сказал Беренс. – Дело могло кончиться очень плохо для мозолей обеих сторон. – Он говорил с резко выраженным нижнесаксонским акцентом, тянул слова и мямлил.

– Ну вот и вы, – обратился он к Гансу Касторпу, которого Иоахим, сдвинув каблуки, ему представил. – Что ж, очень рад. – И подал молодому человеку широченную, словно лопата, руку. Это был костлявый человек, головы на три выше Кроковского, уже совсем поседевший, с крутым затылком, крупными, навыкате, чуть слезящимися синими глазами, вздернутым носом и коротко подстриженными усиками, которые казались перекошенными из-за шрама, белевшего в уголке верхней губы. Иоахим сказал правду о его щеках – они были синими; таким образом, голова его казалась особенно красочной и еще оттенялась белым хирургическим халатом, вернее белым кителем с хлястиком; китель был ниже колен и открывал полосатые брюки и громадные ножищи в желтых, уже поношенных высоких ботинках со шнурками. В профессиональной одежде был и доктор Кроковский, с той разницей, что халат с резиновыми нарукавниками у него был люстриновый, черный, сшитый наподобие длинной блузы и особенно подчеркивал бледность его лица. Он держался только как ассистент и ни в какой мере не участвовал в знакомстве с вновь прибывшим, хотя едва уловимая усмешка на его губах показывала, что его подчиненное положение кажется ему более чем странным.

– Двоюродные братья? – спросил гофрат, показав рукой сначала на одного из молодых людей, потом на другого и глядя на них как-то снизу своими налитыми

кровью синими глазами… – Он что – тоже мечтает напялить военный мундир? – обратился Беренс к Иоахиму и мотнул головой в сторону Ганса Касторпа… – Боже упаси, да? – И продолжал, обращаясь уже непосредственно к Гансу Касторпу: – Я сразу заметил – в вас есть что-то такое гражданское, комфортабельное, а не бряцающее оружием, как у этого вот ротного командира. Держу пари, вы были бы лучшим пациентом, чем он. Я сразу по человеку вижу, толковый из него выйдет пациент или нет, чтобы быть пациентом – для этого тоже нужен талант, талант для всего нужен, а у этого мирмидонца таланта нет ни на грош. Насчет маршировок – не знаю, а к тому, чтобы быть больным – никакого. Поверите ли – все время стремится уехать, терзает и мучит меня и ждет не дождется, когда его там внизу заберут в казарму. Усердие неслыханное, описать невозможно! Даже полгодика не хочет нам подарить. И притом ведь у нас же тут совсем неплохо, сознайтесь, Цимсен, ведь неплохо! Да, ваш кузен сумеет лучше оценить нас, чем вы, уж он найдет чем развлечься. И в дамах у нас тут нет недостатка – есть даже прелестные особы. По крайней мере наружность у многих весьма живописная. Но слушайте, вы должны себе нагулять цвет лица получше, не то успеха у дам не будет. Правда, «древо жизни зеленеет», но для лица зеленое не совсем подходящий цвет. Конечно, общее малокровие, – продолжал он, бесцеремонно подошел к Гансу Касторпу вплотную и оттянул ему веко указательным и средним пальцем. – Разумеется, общее малокровие, так я и думал. Знаете что? Вы сделали очень умно, что на некоторое время предоставили ваш Гамбург самому себе. Мы должны быть ему весьма благодарны: он поставляет нам немалый контингент больных со своей бодро-сырой метеорологией. Но если я смею дать вам в этом случае совет – нет, отнюдь не предписание, а совсем sine pecunia[4 - Бесплатно (лат.).], знаете ли, – пока вы здесь, проделывайте-ка все то, что и ваш брат. В вашем случае нет ничего разумнее, как пожить некоторое время так, будто у вас легкий tuberculosis pulmonum[5 - Туберкулез легких (лат.).], и прибавить немножко белка. У нас тут происходит любопытная штука с этим белковым обменом… Хотя общее сгорание в организме усиливается, все же белок прибавляется… А вы, Цимсен, как спали? Хорошо? Отлично, да? Ну, продолжайте вашу увеселительную прогулку. Но не больше получаса. А потом суйте в рот ртутную сигару. И каждый раз аккуратно записывайте, Цимсен! Как на службе! Добросовестно! А в субботу я посмотрю кривую. Пусть ваш двоюродный брат тоже с вами мерит. Это не повредит. До свидания, господа! Желаю приятно провести время. Доброе утро… Доброе утро… – И, сопровождаемый доктором Кроковским, он помчался дальше, загребая руками с вывернутыми назад ладонями и бросая направо и налево вопросы о том, хорошо ли его больные спали, на что все отвечали утвердительно.

Шалости. Последнее причастие. Прерванное веселье

– Милейший человек, – сказал Ганс Касторп, когда они, обменявшись поклонами с портье, который сидел за своей конторкой и разбирал письма, вышли через главный подъезд санатория. Подъезд находился на юго-восточной стороне белого оштукатуренного здания, средняя часть дома была на этаж выше, чем флигеля, и ее венчала небольшая башенка с часами, крытая выкрашенным под шифер листовым железом. Выйдя с этой стороны, они сразу же, минуя сад, очутились за пределами санаторской территории и увидели прямо перед собою горные луга на склонах, растущие вокруг одинокие мощные пихты и скрюченные карликовые сосны. Дорога, по которой зашагали двоюродные братья, – в сущности, никакой другой и не было, кроме шоссе, спускавшегося в долину, – дорога, слегка поднимаясь в гору, вела влево, мимо задней стены санатория, кухонь и хозяйственных построек, где у решеток подвальных лестниц стояли железные бочки для отбросов, тянулась еще некоторое время в том же направлении, затем под острым углом сворачивала вправо и, становясь все круче, взбегала на склон, поросший редким леском. Она была каменистая, красноватая и еще слегка сырая от росы, по краям местами лежали обломки скал. Оказалось, что кузены не одни решили прогуляться. Те, кто кончил завтракать позднее, поднимались за ними по пятам, и целые группы уже спускались им навстречу, упираясь в землю ногами, как это делают обычно при спуске с горы.

– Милейший человек! – повторил Ганс Касторп. – И такой остроумный, разговор с ним доставил мне истинное удовольствие. Назвать градусник «ртутной сигарой» – это же прелесть, и сразу понятно, о чем речь… Но теперь я все-таки закурю настоящую, – добавил он, приостанавливаясь, – больше не могу терпеть! Со вчерашнего полдня ничего приличного не курил… Извини, пожалуйста!.. – И он извлек из своего кожаного портсигара с серебряной монограммой экземпляр «Марии Манчини», отличный экземпляр высшего качества, плоский с одного конца, – такие он особенно любил, – и отрезал кончик специальным острым ножичком, который носил на цепочке часов; потом чиркнул зажигалкой, раскурил довольно длинную сигару с тупого конца и сделал несколько глубоких затяжек, выпуская кольца дыма.

– Так! – сказал он. – А теперь мы можем, если хочешь, продолжать нашу увеселительную прогулку. Ты, конечно, не куришь ввиду чрезмерно усердного

лечения.

– Я же вообще не курю, – отозвался Иоахим. – С какой стати я бы начал курить здесь?

– Не понимаю! – возразил Ганс Касторп. – Не понимаю, как это можно! Ты лишаешь себя, так сказать, одного из лучших благ существования и уж во всяком случае огромного удовольствия! Когда я просыпаюсь, то заранее радуюсь, что вот в течение дня буду курить, и когда ем, тоже радуюсь; по правде говоря, я и ем-то лишь ради того, чтобы затем покурить… Ну, это я, конечно, пре увеличиваю. Но день без табака мне казался бы невыносимо пустым, это был бы совершенно безрадостный, унылый день; и если бы завтра пришлось сказать себе: сегодня курить будет нечего, – кажется, у меня не хватило бы мужества подняться с постели, уверяю тебя, я бы так и остался лежать. Видишь ли, когда у человека есть хорошая сигара – конечно, если она хорошо тянется и сбоку не проходит воздух, это очень раздражает, – если есть такая сигара, то уже ничего не страшно, тебе в буквальном смысле слова ничто не может угрожать. Все равно как на берегу моря, лежишь себе и лежишь, и все тут, верно? И ничего тебе не нужно, ни работы, ни развлечений… Люди, слава Богу, курят на всем земном шаре, и нет, насколько мне известно, ни одного уголка земли, – куда бы тебя ни забросило, – где бы курение было неизвестно. Даже полярные исследователи запасают как можно больше курева, чтобы легче переносить лишения, и когда я читал об этом, они вызывали во мне особую симпатию. Ведь человек всегда может очутиться в тяжелом положении… Ну допустим, пошатнулись бы мои дела… но пока у меня есть сигара – я все выдержу, уверен… она поможет мне справиться.

– И все-таки в том, что ты так зависишь от курения, есть какая-то распущенность, – сказал Иоахим. – Беренс совершенно прав: ты человек сугубо штатский, – хотя он сказал это скорее в похвалу тебе, – но дело в том, что твоя штатскость неисправима. А вообще – ты же здоров и можешь делать все, что тебе угодно, – продолжал он, и в его взгляде появилась усталость.

– Да, так здоров, что дошел до анемии, – отозвался Ганс Касторп. – Он же мне в лицо заявил, что я презеленый, – кажется, достаточно. Впрочем, я и сам вижу, насколько я в сравнении с вами действительно какой-то зеленый, дома я этого не замечал. Но потом он мне тут же надавал советов, и притом sine pecunia, как он выразился. Тоже очень мило с его стороны. Я охотно буду выполнять эти советы и во всем подражать тебе… Да и что еще, собственно говоря, делать

здесь у вас наверху?.. И мне нисколько не повредит, если я, во имя Божье, прибавлю белка, хотя, согласись, это звучит даже как-то противно.

На ходу Иоахим раза два слегка покашливал – подъем все же, видимо, утомлял его. Когда он закашлялся в третий раз, он нахмурился и остановился.

– Иди, я догоню тебя, – сказал он. Ганс Касторп торопливо устремился дальше, не оглядываясь. Потом начал все больше замедлять шаг, он уже почти не двигался с места, ибо ему казалось, что он ушел слишком далеко вперед. Но и тут он не оглянулся.

Ему навстречу шла группа больных – мужчин и женщин, он видел их перед тем на ровной дороге, тянувшейся поперек склона; теперь они спускались, упираясь ногами в землю, и он слышал их разноголосый говор. Их было человек шесть-семь, самых разных возрастов, одни – еще совсем юнцы, другие – уже в более зрелых летах. Он смотрел на них, склонив голову набок, а сам думал об Иоахиме. Все они были загорелые, без шляп, дамы в ярких свитерах, мужчины без пальто и даже без тростей, как люди, которые, засунув руки в карманы, просто вышли на минутку пройтись перед домом. Дорога вела под гору, а спуск не требует особого напряжения, нужно лишь слегка тормозить и упираться ногами, чтобы не побежать вниз и не начать спотыкаться; поэтому их походка была скорее отдачей себя плавному падению, и в ней чувствовалась какая-то окрыленность, какое-то легкомыслие, оно передавалось их лицам, всему их внешнему облику, и невольно возникало желание к ним присоединиться.

Вот они поравнялись с ним – Ганс Касторп видел каждого совершенно отчетливо. Оказывается – не все загорели, две дамы выделялись своей бледностью: одна – тощая, как жердь, с лицом цвета слоновой кости, другая – маленькая и жирная, в некрасивых родимых пятнах. Все они смотрели на него с одинаковой дерзкой усмешкой. Долговязая молодая девица, неряшливо завитая, в зеленом свитере, прошла с полузакрытыми глазами так близко от Ганса Касторпа, что едва не задела его локтем. И притом она еще посвистывала… Тут было отчего сойти с ума! Она освистывала его, но не ртом, губы ее не были вытянуты вперед, а наоборот, крепко сжаты. Что-то свистело у нее внутри, а она поглядывала на него с глупым видом, полузакрыв глаза; это был удивительно неприятный свист, хриплый, режущий и все же глухой, протяжный и в конце переходящий в другой тон; он напоминал тот особый жалобный свист, который издают надутые воздухом ярмарочные свинки, когда они выпускают из себя воздух и съеживаются, но звук этот каким-то непонятным образом вырывался из

груди девушки. Наконец компания прошла, а с нею и свистунья.

Ганс Касторп стоял неподвижно и растерянно глядел перед собой. Затем торопливо обернулся, он понял одно: отвратительный свист был, как видно, шуткой, заранее подготовленной каверзой, ибо плечи удалявшихся тряслись от смеха, а какой-то коренастый толстогубый подросток, который, засунув руки в карманы брюк, пренеприлично задирал куртку, обернулся, без стеснения посмотрел на него и захохотал.

В это время подошел Иоахим. Приветствуя гуляющих, он по военной привычке вытянулся и, сдвинув каблуки, поклонился; затем устремил свой мягкий взгляд на двоюродного брата и шагнул к нему.

– Что с тобой? – спросил Иоахим.

– Она свистела, – ответил Ганс Касторп, – она свистела животом, когда проходила мимо меня. Ты можешь мне объяснить, что это такое?

– Ах, вот что, – ответил Иоахим и пренебрежительно усмехнулся. – Да не животом вовсе, вздор какой! Это Клеефельд, Гермина Клеефельд, она свистит пневмотораксом.

– Чем? – спросил Ганс Касторп. Он был ужасно взбудоражен, хотя сам хорошенько не понимал отчего. И, не то плача, не то смеясь, заявил: – Ты не можешь от меня требовать, чтобы я разбирался во всей вашей абракадабре!

– Идем же, – сказал Иоахим. – Я ведь могу объяснить тебе и по пути. А ты точно к земле прирос. Это из области хирургии, как ты сам понимаешь, некая операция, которую делают здесь наверху очень часто. Беренс здорово наловчился… Когда одно легкое слишком поражено, понимаешь ли, а другое – здорово или сравнительно здорово, то больное на некоторое время освобождают от работы, чтобы поберечь его… А происходит это так: где-то тут, сбоку, делают разрез – я точно не знаю, в каком месте. Но Беренс – мастер на такие штуки; а затем в человека накачивают газ, азот, понимаешь ли, и таким образом выключают пораженное легкое. Конечно, газ держится недолго, через две недели нужно опять накачивать; газ как бы сдавливает легкое, представляешь себе? А если продолжать в течение года или дольше и все идет как следует, то в легком благодаря покою может произойти заживление. Не всегда, разумеется, и вообще

это рискованное предприятие. Но говорят, что с помощью пневмоторакса уже достигают блестящих результатов. Он у всех, кого ты сейчас встретил. У фрау Ильтис, – знаешь, та, с родимыми пятнами, и у фрейлейн Леви, – помнишь, худая, она долго лежала в постели. Они все подружились, ведь такая вещь, как пневмоторакс, естественно, сближает людей, вот эти даже основали «Союз однолегочных» и известны под этим названием. Но гордость их союза – это Гермина Клеефельд, потому что она умеет свистеть пневмотораксом, – у нее просто талант, он дан не всякому. Как уж она это делает, тоже не скажу тебе, да она и сама вряд ли объяснит. Но после быстрой ходьбы она может свистеть изнутри и, конечно, этим пользуется, чтобы людей пугать, особенно новичков. Все же, мне кажется, при этом расходуется слишком много азота. Ей делают вдувание каждую неделю.

Ганс Касторп рассмеялся; его волнение после слов Иоахима разрешилось веселостью, он прикрыл глаза рукой, слегка наклонился вперед, и плечи его затряслись от неудержимого, судорожного хихиканья.

– И что же, их союз зарегистрирован? – спросил он, с трудом выговаривая слова; от усилий сдержать смех он произнес их каким-то жалобным, почти плачущим тоном. – И у них есть свой устав? Жаль, что ты не состоишь в нем, именно ты, тогда они могли бы принять и меня как почетного гостя или как… корпоранта… Ты бы попросил Беренса, чтобы он и тебя частично «выключил», может быть, и ты научился бы свистеть, ведь этому можно в конце концов научиться… Нет, ничего смешнее в жизни своей не слышал, – докончил он, глубоко вздохнув. – Ты прости, что я так говорю об этом, но сами-то они, видимо, пребывают в отличном настроении, твои пневматические друзья! Как они шествовали… Подумать только, что это был «Союз однолегочных». Тьююю – выводит она, проходя мимо меня… прямо сумасшедшая какая-то! Но ведь это же отчаянное озорство! Почему они такие отчаянные, можешь ты мне объяснить?

Иоахим искал слов для ответа.

– Господи, – ответил он наконец, – но ведь они же совершенно свободны! Я хочу сказать, все они молоды, время не имеет для них никакого значения, и потом они же могут умереть. Зачем же им тогда напускать на себя серьезность? Я иногда думаю: болезнь и смерть – это дело несерьезное, своего рода тунеядство, серьезна, собственно говоря, только жизнь там внизу. Я думаю, ты поймешь это со временем, когда побудешь здесь подольше.

– Наверно, – ответил Ганс Касторп. – Я даже убежден. Вы все тут наверху очень заинтересовали меня, а когда чем-нибудь интересуешься, то приходит и понимание… Но что это со мной… сигара кажется мне невкусной! – И он посмотрел на свою сигару. – Я все время удивляюсь, почему мне не по себе, а, оказывается, дело в «Марии», она какая-то неприятная. Точно папье-маше во рту, и такое ощущение, будто совсем испорчен желудок. Непостижимо! Правда, я ел за завтраком больше, чем обычно, но это же не может быть причиной… Когда переешь, сигара кажется особенно вкусной. Как ты думаешь, может это быть оттого, что я плохо спал? И расклеился? Фу, остается только выбросить ее! – заявил он, снова взяв в рот сигару. – Что ни затяжка – то огорчение, нет смысла насиловать себя. – И, поколебавшись еще мгновение, он швырнул сигару с откоса, в сырую хвою. – А знаешь, с чем, я убежден, это связано? – спросил он… – Я глубоко убежден, что это как-то связано с проклятым жаром лица. Он опять меня мучит с тех пор, как я встал. Черт его знает почему – все время такое ощущение, будто я горю от стыда… У тебя тоже так было, когда ты приехал?

– Да, – ответил Иоахим. – И я вначале чувствовал себя как-то странно. Да ты не беспокойся! Я же сказал тебе, что тут у нас не так легко привыкают. Но и у тебя все это придет в порядок. Вон, посмотри, как удачно поставлена та скамеечка. Давай посидим, а потом двинемся домой. Мне пора лежать на воздухе.

Дорога стала ровной. Она шла в сторону Давоса, примерно на трети высоты горного склона, среди тощих, искривленных ветрами сосен, и с нее был виден поселок, белевший в более ярком свете. Простая деревянная скамья, на которую они опустились, опиралась спинкой о крутую скалистую стену. Совсем рядом, по открытому деревянному желобу, с журчанием и плеском сбегала в долину вода.

Иоахим начал было называть двоюродному брату окутанные облаками альпийские вершины, замыкавшие долину с юга, указывая на каждую горной палкой. Но Ганс Касторп едва удостаивал их взгляда. Он сидел, наклонившись вперед, и концом своей отделанной серебром городской тросточки рисовал на песке; его интересовало другое.

– Что я хотел тебя спросить, – начал он. – Значит, этот случай в моей комнате произошел перед самым моим приездом. А скажи, с тех пор как ты здесь, много у вас было смертных случаев?

– Не один и не два – это уж наверное, – ответил Иоахим. – Но, понимаешь ли, это происходит незаметно, мы и не узнаем о них, разве что случайно, позднее, а так,

если кто-нибудь умирает, все совершается в полной тайне, больных оберегают, особенно дам, иначе с ними легко может сделаться истерика. Поэтому когда рядом с тобой человек кончается, ты даже не знаешь этого. И гроб приносят чуть свет, когда ты еще спишь, и уносят покойника в те часы, когда никого нет, например – во время обеда.

– Гм… – пробормотал Ганс Касторп и продолжал рисовать на песке. – Значит, такого рода события происходят за кулисами…

– Да, пожалуй. Но вот недавно… постой, примерно месяца два тому назад…

– Тогда не говори недавно… – сухо и настороженно поправил его Ганс Касторп.

– Что? Ну тогда не недавно. А ты не придирайся. Я ведь сказал просто так, наугад. Значит, некоторое время тому назад мне все-таки пришлось заглянуть за кулисы, это вышло чисто случайно, я все помню, как сейчас. К маленькой Гуйус – она была католичкой – пришли со святыми дарами, чтобы перед смертью причастить ее и соборовать. Когда я сюда приехал, она еще ходила и такая была веселая, шаловливая, как и полагается подростку. А потом ее сразу скрутило, она уже не могла подняться, – она лежала через три комнаты от меня, – и вот приехали ее родители, а потом явился и священник. Он явился под вечер, когда все сидели за чаем и в коридорах не было ни души. Я, представь, проспал, заснул во время главного лежания, не слышал гонга и опоздал на четверть часа. Поэтому в решительную минуту я оказался не там, где все, и попал за кулисы, как ты выразился; и вот иду я по коридору, а они мне навстречу, в кружевных стихарях, впереди служка с крестом, крест золотой, на нем фонари, прямо погремушка с бубенчиками, которую несут перед оркестром янычар.

– Я считаю такое сравнение неуместным, – заметил Ганс Касторп не без строгости.

– Ну, мне так показалось. Невольно напомнило. Но слушай дальше. Значит, спешат они мне навстречу, чуть не бегом, впереди служка с крестом, затем священник в очках, а потом еще мальчик с кадильницей. Священник прижимает к груди причастие, чаша была накрыта, голову он смиренно склонил набок – это же их святая святых.

– Именно потому, – сказал Ганс Касторп, – именно потому меня и удивляет, что ты сравниваешь крест с погремушкой…

– Согласен. Но подожди, если бы ты попал в мое положение, ты тоже не знал бы, как ко всему этому отнестись, только во сне такое привидится…

– Что именно?

– Да вот это. И я спрашиваю себя, как мне держаться при подобных обстоятельствах. Снять шляпу я не могу, ибо ее у меня нет…

– Вот видишь! – торопливо перебил его опять Ганс Касторп. – Вот видишь, у человека должна быть шляпа на голове! Конечно, мне сразу бросилось в глаза, что вы здесь наверху не носите шляп. Но она должна быть, на случай, если ее придется снять… когда потребуют приличия… Что же дальше?

– Я отошел к стене, – продолжал Иоахим, – остановился в почтительной позе и, когда они дошли до комнаты маленькой Гуйус, номер двадцать восьмой, слегка наклонил голову. По-моему, священник обрадовался, что я поклонился; он очень вежливо поблагодарил меня и снял свою шапочку; потом они тут же останавливаются, мальчик с кадилом стучит в дверь, нажимает ручку и пропускает священника вперед. И вот представь себе и вообрази мой ужас и мои ощущения! В минуту, когда священник переступает порог, кто-то в комнате взвизгивает отчаянно, пронзительно – я ничего подобного не слышал – три, четыре раза подряд, а потом начинается крик, беспрерывный, несмолкающий, он вырывается из широко раскрытого рта, знаешь, вот так: «Аа-ааа…» И в этом крике такая жалоба, такой ужас и негодование, что передать невозможно, а мгновениями – раздирающая сердце мольба. И вдруг этот крик становится глухим и далеким, точно он опустился в землю и доносится из глубокого погреба.

Ганс Касторп порывисто обернулся к двоюродному брату.

– И это была маленькая Гуйус? – спросил он взволнованно. – А потом – что это значит «из глубокого погреба»?

– Она заползла под одеяло! – сказал Иоахим. – Нет, ты представь, что я испытывал! Священник остановился у самого порога и говорил успокаивающие

слова, как сейчас вижу его, он то вытягивал шею, то втягивал голову в плечи. Человек с крестом и служка стояли растерянные, не решаясь войти. А мне было между ними видно, что делается в комнате. Комната совершенно такая же, как твоя и моя, слева от двери у стены кровать, и возле изголовья столпилась кучка людей, – конечно, родители и близкие, – и они уговаривают, склонившись над постелью, а на ней видно только что-то бесформенное, и оно молит исступленно, негодует, брыкается…

– Ты говоришь, она брыкалась?

– Изо всех сил! Но все было напрасно. Она вынуждена была причаститься святых тайн. Священник подошел к ней, вошли оба его спутника, кто-то притворил дверь. Однако я успел еще увидеть: на миг приподнимается растрепанная белокурая голова маленькой Гуйус, девочка смотрит на священника широко раскрытыми от ужаса глазами, они совсем белые, без цвета, потом опять раздается «ай-ой», и она снова ныряет под простыню.

– И ты мне рассказываешь такую вещь только теперь? – помолчав, проговорил Ганс Касторп. – Я не понимаю, как ты вчера вечером не вспомнил об этом. Но, Боже мой, ведь у нее, очевидно, было еще очень много сил, раз она так сопротивлялась. Для этого ведь необходимы силы. За священником надо посылать, только когда человек уж совсем ослабеет…

– Она и ослабела, – возразил Иоахим. – О!.. Много кой-чего можно было бы порассказать; самое трудное – начало, выбор… Она была на самом деле очень слаба, только страх придал ей такую силу. Ей было страшно до ужаса, она же почуяла, что скоро умрет. Ведь совсем молоденькая девушка, как тут в конце концов не извинить ее? Но иногда и мужчины ведут себя так же, а уж это непростительное безволие! Впрочем, Беренс умеет с ними разговаривать, он в таких случаях находит нужный тон!

– Какой же тон? – спросил Ганс Касторп, насупившись.

– «Пожалуйста, не ломайтесь», говорит он, – продолжал Иоахим. – По крайней мере он совсем недавно сказал это одному умирающему – мы узнали об этом от старшей сестры, она помогала держать больного. Был у нас такой, напоследок он разыграл отвратительную сцену, ни за что не хотел умирать. Тогда-то Беренс на него и накинулся. «Пожалуйста, не ломайтесь», – заявил он, и пациент

мгновенно утихомирился и умер совершенно спокойно.

Ганс Касторп хлопнул себя рукой по колену и, откинувшись на спинку скамьи, взглянул на небо.

– Послушай, но это уж слишком! – воскликнул он. – Накидывается на человека и прямо заявляет: «Не ломайтесь!» Это умирающему-то! Нет, это уж слишком! Умирающий в какой-то мере заслуживает уважения. Нельзя же его так, ни с того ни с сего… Ведь умирающий, хочу я сказать, как бы лицо священное…

– Не отрицаю, – отозвался Иоахим. – Но если он такая тряпка…

– Нет! – настойчиво продолжал Ганс Касторп с упорством, которое отнюдь не соответствовало возражениям двоюродного брата. – Нет, умирающий – это существо гораздо более благородное, чем какой-нибудь ражий болван, который разгуливает себе по жизни, похохатывает, зашибает деньгу и набивает пузо. Так нельзя… – И голос его странно дрогнул. – Нельзя так, ни за что ни про что… – Он не договорил: как и вчера, на него напал неудержимый смех, этот смех вырывался из глубины его существа, сотрясая все тело, смех столь неодолимый, что Ганс Касторп невольно закрыл глаза, и из-под век выступили слезы.

– Тсс! – вдруг остановил его Иоахим. – Молчи, – прошептал он и толкнул в бок трясшегося от неудержимого хохота молодого человека. Ганс Касторп открыл затуманенные слезами глаза.

По дороге слева к ним приближался какой-то господин в светлых клетчатых брюках; это был хорошо сложенный брюнет с изящно подкрученными черными усами. Приблизившись, он обменялся с Иоахимом утренним приветствием, причем в устах господина приветствие это прозвучало особенно отчетливо и певуче; затем он оперся на свою трость и, скрестив ноги, остановился в грациозной позе перед Иоахимом.

Сатана

Возраст незнакомца трудно было определить, – вероятно, что-нибудь между тридцатью и сорока годами; хотя, в общем, он производил впечатление человека еще молодого, однако его виски слегка серебрились и шевелюра заметно поредела. Две залысины, тянувшиеся к узкому, поросшему жидкими волосами темени, делали лоб необычно высоким. Его одежду, состоявшую из широких брюк в светло-желтую клетку и длинного сюртука из ворсистой материи, с двумя рядами пуговиц и очень широкими лацканами, отнюдь нельзя было назвать элегантной; двойной высокий воротничок от частых стирок по краям уже слегка обмахорился, черный галстук также был потрепан, а манжет незнакомец, видимо, вовсе не носил – Ганс Касторп угадал это по тому, как обвисли концы рукавов.

И все-таки было ясно, что перед ними не человек из народа; об этом говорило и интеллигентное выражение лица, и свободные, даже изысканные движения. Однако эта смесь потертости и изящества, черные глаза, мягкие, пушистые усы тотчас напомнили Гансу Касторпу тех музыкантов-иностранцев, которые на Рождество ходят у него на родине по дворам с шарманкой и потом, подняв к окнам бархатные глаза, протягивают мягкую шляпу, ожидая, что им бросят монету в десять пфеннигов. «Настоящий шарманщик!» – подумал про себя Ганс Касторп. Поэтому он и не удивился фамилии незнакомца, когда Иоахим поднялся со скамьи и с некоторым смущением представил их друг другу.

– Мой двоюродный брат Касторп, господин Сеттембрини.

Ганс Касторп, еще со следами неумеренной веселости на лице, также поднялся, чтобы поздороваться. Но итальянец в вежливых выражениях попросил его не беспокоиться и заставил снова опуститься на скамью, а сам продолжал стоять в той же грациозной позе. Улыбаясь, поглядывал Сеттембрини на двоюродных братьев, особенно на Ганса Касторпа, и в умной, чуть иронической усмешке, затаившейся в самом уголке рта, там, где ус красиво загибался кверху, было что-то своеобразное, словно призывавшее к бдительности и ясности духа; Ганс Касторп как-то сразу протрезвел, и ему стало стыдно.

– Я вижу, господа, вы в веселом настроении – и правильно делаете, правильно. Великолепное утро! Небо голубое, солнце смеется… – И легким пластичным движением воздел он маленькую желтоватую ручку к небу и одновременно искоса метнул на них снизу вверх лукавый взгляд. – Можно даже позабыть, где находишься.

В его немецкой речи не чувствовалось никакого иностранного акцента, и лишь по той отчетливости, с какой он произносил каждый слог, можно было признать в нем чужеземца. Ему даже как будто доставляло удовольствие выговаривать слова. И слушать его было приятно.

– Надеюсь, вы хорошо доехали? – обратился он к Гансу Касторпу. – И приговор уже произнесен? Я хочу сказать: мрачный церемониал первого осмотра уже состоялся? – Здесь ему следовало бы умолкнуть и подождать, что скажет Ганс Касторп, если бы его это интересовало, ибо он задал определенный вопрос и молодой человек намеревался на него ответить. Но Сеттембрини тут же продолжал: – К вам были снисходительны? Из вашей смешливости… – он на мгновение умолк, и саркастическая складка, таившаяся в уголке его рта, стала заметнее, – можно сделать разные выводы. На сколько же месяцев вас засадили в нашу каталажку Минос и Радамант? – Слово «каталажка» прозвучало в его устах особенно забавно. – Мне предоставляется угадать самому? На шесть? Или сразу на девять? Тут ведь не скупятся…

Ганс Касторп удивленно рассмеялся, в то же время силясь припомнить, кто же такие Минос и Радамант. Он ответил:

– Ничего подобного. Нет, вы ошиблись, господин Сентеб…

– Сеттембрини, – поправил его итальянец быстро и четко, отвесив шутливый поклон.

– Господин Сеттембрини, прошу меня извинить. Нет, вы все же ошиблись. Я приехал всего на три недели – навестить моего двоюродного брата Цимсена и хочу воспользоваться этим случаем, чтобы тоже немного поправиться…

– Черт побери, значит, вы не из наших? Вы здоровы и только гостите здесь, подобно Одиссею в царстве теней? Какая смелость – спуститься в бездну, где в бессмысленном ничтожестве обитают мертвые…

– В бездну, господин Сеттембрини? Разрешите с вами не согласиться! Мне пришлось, наоборот, вскарабкаться к вам на высоту целых пяти тысяч футов…

– Это вам только так показалось! Даю слово, то была иллюзия! – продолжал Сеттембрини, сделав решительное движение рукой. – Мы низко павшие

создания, не правда ли, лейтенант? – обратился он к Иоахиму, которому очень польстило, что тот назвал его лейтенантом; но он попытался это скрыть и спокойно ответил:

– Мы действительно здесь немного опустились. Но в конце концов можно сделать над собой усилие и снова выпрямиться.

– Да, я верю, что вы на это способны, вы человек порядочный. Так, так, так, – задумчиво сказал Сеттембрини, резко подчеркивая звук «т»; потом опять повернулся к Гансу Касторпу, трижды прищелкнул языком и проговорил: – Вот, вот, вот, – снова подчеркивая букву «т»; он пристально уставился в лицо новичка, его глаза стали неподвижными, точно у слепого; потом они снова ожили, и он продолжал:

– Значит, вы явились сюда наверх к нам, опустившимся, вполне добровольно и намерены на некоторое время удостоить нас общением с вами? Что ж, прекрасно. А какой же срок изволили вы себе наметить? Сознаюсь, нетактичен. Но меня удивляет, какими смелыми становятся люди, когда решают они сами, а не Радамант.

– Три недели, – сказал Ганс Касторп с несколько кокетливой небрежностью, ибо заметил, что вызывает зависть.

– O dio![6 - О Боже! (ит.)] Три недели! Вы слышали, лейтенант? Разве не чудится вам даже нечто дерзостное, когда человек заявляет: «Я приехал сюда на три недели, а потом снова уеду»? Мы, сударь, если мне будет позволено просветить вас, свое пребывание здесь неделями не мерим. Наша самая малая мера – месяц. В наших исчислениях мы придерживаемся высокого стиля, больших масштабов, это привилегия теней. У нас есть и другие, но все они того же рода. Осмелюсь спросить, какова ваша профессия в жизни, или, сказать точнее, к какой вы готовитесь? Видите, наше любопытство не ведает узды, ибо и его мы считаем своей привилегией.

– Пожалуйста, я отвечу вам очень охотно, – отозвался Ганс Касторп. И он сообщил о себе все, что мог.

– Кораблестроитель! Но это же грандиозно! – воскликнул Сеттембрини. – Поверьте мне, грандиозно, хотя мои способности устремлены на иное.

– Господин Сеттембрини – литератор, – пояснил Иоахим несколько смущенно. – В немецких газетах был напечатан его некролог Кардуччи… ну, знаешь, Кардуччи? – И смутился еще больше, ибо кузен удивленно посмотрел на него, словно желая сказать: «А тебе-то что-нибудь известно об этом Кардуччи? Видимо, так же мало, как и мне?»

– Верно, – сказал итальянец, кивнув головой. – Я имел честь поведать вашим соотечественникам об этом свободомыслящем и великом поэте после того, как жизнь его, увы, прервалась. Я знал его и вправе называть себя его учеником. В Болонье я сидел у его ног. Ему обязан я и своим образованием, и своей жизнерадостностью. Но ведь мы говорили о вас. Итак, вы кораблестроитель? А знаете ли вы, что сразу выросли в моих глазах? Вот вы сидите передо мной, и вдруг оказывается, что вы представляете собой целый мир труда и практического гения!

– Но послушайте, господин Сеттембрини, я же, собственно говоря, еще студент, я только начинаю.

– Разумеется. И всякое начало трудно. Да и вообще трудна всякая работа, если она заслуживает этого названия, не правда ли?

– Вот уж верно, черт возьми! – согласился Ганс Касторп от всей души.

Сеттембрини удивленно поднял брови.

– Вы даже черта призываете в подтверждение своих слов? Сатану – собственной персоной? А известно ли вам, что мой великий учитель написал ему гимн?

– Позвольте, – удивился Ганс Касторп, – гимн черту?

– Вот именно. Его иногда распевают у меня на родине, на празднествах. «O salute, o Satana, o Ribellione, o forza vindice delia Ragione…»[7 - «Привет тебе, о Сатана, о Мятежник, о мстительная сила Разума» (ит.).] Великолепная песнь! Но это едва ли тот черт, которого вы имели в виду, ибо мой – в превосходных отношениях с трудом. А упомянутый вами – ненавидит труд, он должен его бояться; это, вероятно, тот черт, о котором сказано, что, протяни ему мизинец…

На добрейшего Ганса Касторпа все эти разговоры подействовали очень странно. По-итальянски он не понимал. Не слишком ему понравилось и сказанное по-немецки. Слова Сеттембрини отдавали воскресной проповедью, хотя все это и преподносилось легким, шутливым тоном. Он взглянул на двоюродного брата, опустившего глаза, и наконец сказал:

– Ах, господин Сеттембрини, вы слишком серьезно относитесь к моим словам. Насчет черта – просто к слову пришлось, уверяю вас!

– Кто-нибудь должен же относиться к человеческим словам серьезно, – сказал Сеттембрини, меланхолически глядя перед собой. Но затем снова оживился и, повеселев, продолжал, искусно возвращая разговор к тому, с чего он начался.

– Во всяком случае, я вправе заключить из ваших слов, что вы избрали трудную и почетную профессию. Боже мой, я гуманитарий, homo humanus, и ничего не смыслю в инженерном деле, хотя и отношусь к нему с истинным уважением. Но я понимаю, что теория вашей специальности требует ума ясного и проницательного, а ее практическим задачам человек должен отдавать себя всего без остатка, разве не так?

– Конечно, тут я с вами абсолютно согласен, – ответил Ганс Касторп, невольно стараясь быть разговорчивее. – Требования в наше время предъявляются колоссальные, трудно даже представить себе, как они велики, просто можно потерять мужество. Да, это не шутка. И если ты не очень крепок здоровьем… Правда, я здесь только в качестве гостя, но все-таки и я не из самых здоровых, и, не хочу врать, работа мне дается не так уж легко. Напротив, она меня порядком утомляет, сознаюсь в этом. Совсем здоровым я чувствую себя, в сущности, только когда ничего не делаю…

– Например, сейчас?

– Сейчас? Ну, здесь у вас наверху я еще не успел освоиться… и немного выбит из колеи, как вы, вероятно, заметили.

– А-а, выбиты из колеи?

– Да, и спал неважно, и первый завтрак был чересчур сытный. Правда, я привык плотно завтракать, но сегодняшний, видимо, слишком тяжел, too rich[8 -

Слишком роскошный, обильный (англ.).], как выражаются англичане. Словом, я чувствую себя не совсем в своей тарелке, а утром мне даже моя сигара была противна – подумайте! Этого со мной никогда не бывает, разве только когда я серьезно болен… И вот сегодня мне показалось, что вместо сигары у меня во рту кусок кожи. Пришлось выбросить, не было никакого смысла себя насиловать. А вы курите, разрешите спросить? Нет? В таком случае вы не можете себе представить, как обидно и досадно бывает тому, кто, как я, например, с юности особенно полюбил курение.

– В этой области не имею, к сожалению, никакого опыта, – заметил Сеттембрини, – однако столь же неопытны и многие весьма достойные люди; их дух, возвышенный и трезвый, испытывал отвращение к курительному табаку. Не любил его и Кардуччи. Но тут вас поймет наш Радамант. Он предан тому же пороку, что и вы.

– Ну, назвать это пороком, господин Сеттембрини…

– Почему бы и нет? Следует называть вещи своими именами, правдиво и решительно. Это укрепляет и облагораживает жизнь. И у меня есть пороки.

– Значит, гофрат Беренс – знаток по части сигар? Обаятельный человек!

– Вы находите? А! Вы, значит, уже познакомились с ним?

– Да, только что, когда мы выходили. Состоялось даже нечто вроде консультации, но sine pecunia, знаете ли. Он сразу заметил, что я несколько малокровен, и посоветовал мне вести здесь тот же образ жизни, что и мой двоюродный брат, побольше лежать на воздухе вместе с ним и тоже измерять температуру.

– Да что вы? – воскликнул Сеттембрини. – Превосходно! – бросил он в пространство и, смеясь, откинулся назад. – Как это поется в опере вашего композитора? «Я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров». Словом, все это весьма занятно. И вы решили последовать его совету? Без сомнения? Да и почему не последовать? Чертов приспешник этот Радамант! И потом всегда «весел», хотя иной раз и через силу. У него же склонность к меланхолии. Его порок ему идет во вред – впрочем, что это был бы иначе за порок… Табак вызывает в нем меланхолию – почему наша достойная всякого уважения

старшая сестра и взялась хранить его запасы курева и выдает ему на день весьма скромный рацион. Говорят, что иногда, будучи не в силах противиться соблазну, он крадет у нее табак, а затем впадает в хандру. Короче говоря – смятенная душа. Вы, надеюсь, уже познакомились с нашей старшей сестрой? Нет? А следовало! Как же вы не домогались знакомства с ней? Это ошибка! Она ведь из рода фон Милендонков, сударь мой. А от Венеры Медицейской отличается тем, что там, где у богини перси, у нее крест…

– Ха-ха! Здорово! – рассмеялся Ганс Касторп.

– Имя ее Адриатика.

– Да что вы говорите? – воскликнул Ганс Касторп. – Послушайте, но это же поразительно! Фон Милендонк и к тому же Адриатика! Все вместе звучит так, точно она давно умерла. Прямо отдает средневековьем.

– Милостивый государь, – ответил Сеттембрини, – тут многое «отдает средневековьем», как вы изволили выразиться. Кстати, я лично убежден, что наш Радамант из одного лишь чувства стиля сделал эту окаменелость старшей надзирательницей своего «дворца ужасов». Ведь он художник. Вы не знали? Как же, пишет маслом. Что вы хотите, это же не запрещено, верно? Каждый волен рисовать, если ему хочется… Фрау Адриатика рассказывает всем, кто согласен ее слушать, да и остальным тоже, что в середине тринадцатого века одна из Милендонков была аббатисой женского монастыря в Бонне на Рейне. А сама она, вероятно, появилась на свет немногим позднее…

– Ха-ха-ха! Ну и насмешник же вы, господин Сеттембрини.

– Насмешник? Вы хотите сказать, что я зол? Да, я чуть-чуть зол, – отозвался Сеттембрини. – Моя беда в том, что я обречен растрачивать свою злость на столь убогие предметы. Надеюсь, вы ничего не имеете против злости, инженер? Я считаю, что она самое блестящее оружие разума против сил мрака и безобразия. Злость, сударь мой, это душа критики, а критика – источник развития и просвещения. – Тут он заговорил о Петрарке, которого называл «отцом нового времени».

– Однако надо возвращаться. Нам пора лежать, – рассудительно вставил Иоахим.

Литератор сопровождал свою речь грациозными жестами. Теперь он как бы завершил эту игру жестов округлым взмахом руки, указав на Иоахима.

– Наш лейтенант напоминает нам о долге службы, – заявил он, – итак, пойдем. Нам по пути, и «вправо ведет он, туда, где чертог могучего Дита!» Ах, Вергилий, Вергилий. Не превзойден никем, господа! Конечно, я верю в прогресс. Но Вергилий умеет пользоваться прилагательными, как ни один из современных писателей. – И когда они зашагали по дороге домой, Сеттембрини начал было читать латинские стихи с итальянским произношением, но тут же прервал себя, ибо им повстречалась молодая девушка, видимо, одна из дочерей этого городка, и даже не особенно хорошенькая; на лице Сеттембрини сразу же появилась улыбка ловеласа, и он стал напевать, прищелкивая языком: «Тэ-тэ-тэ… Ля-ля-ля, эй-эй-эй! Миленькая крошка, будь же моей!» Смотрите, как «в беглом сиянье блеснул ее взор», – процитировал он неведомо откуда и послал воздушный поцелуй удалявшейся смущенной девушке.

«Какой он, оказывается, ветреник», – подумал Ганс Касторп и не изменил своего мнения, даже когда, после галантной атаки на девицу, итальянец снова пустился в рассуждения. Главным образом прохаживался он насчет Беренса, язвил по поводу его ножищ и остановился затем на его звании, будто бы дарованном ему каким-то принцем, страдавшим туберкулезом мозга. О скандальном образе жизни этого принца до сих пор еще судачит вся округа. Но Радамант закрывает на это глаза, оба глаза, ведь он получил гофрата. Впрочем, господа, вероятно, не знают, что летний сезон – это его изобретение? Да, именно он его изобрел, и никто другой. Заслуга есть заслуга. Раньше в этой долине выдерживали только верные из верных. Тогда «наш юморист» с присущей ему прозорливостью открыл, что этот изъян – всего лишь плод предрассудка. Он выдвинул теорию, по крайней мере в отношении своего санатория, что летний курс лечения не только полезен и особенно эффективен, он прямо-таки необходим. Ему удалось разрекламировать свою теорию среди публики, он писал популярные статьи по этому вопросу и лансировал их в печати. С тех пор его дела идут летом так же бойко, как и зимой.

– Гений, – добавил Сеттембрини. – Ин-ту-и-ция! – добавил он. Затем язвительно прохватил и другие здешние лечебные учреждения и насмешливо воздал хвалу стяжательству их владельцев. Взять хотя бы профессора Кафку… Ежегодно в критическое время таяния снегов, когда многие пациенты стремятся покинуть эти места, профессор Кафка оказывается вынужденным внезапно уехать куда-то на неделю, причем обещает по своем возвращении немедленно отпустить

больных. Но его отсутствие продолжается обычно месяца полтора, и бедняги больные вынуждены ждать, причем их счета, замечу мимоходом, продолжают расти. Даже в Фиуме вызывали этого Кафку, но он не тронулся с места, пока ему не гарантировали пять тысяч добрыми швейцарскими франками, причем на переговоры ушло две недели. А через день после прибытия светила больной умер. Что же касается доктора Зальцмана, то он обвиняет Кафку в том, что у него будто бы шприцы плохо стерилизуются и что больных заражают дополнительными инфекциями. Он ездит в экипаже на шинах, говорит Зальцман, чтобы его покойникам не было слышно, а Кафка, в свою очередь, утверждает, будто у Зальцмана «дар веселящий лозы» навязывается пациентам в таком объеме, – конечно, тоже для округления счетов, – что люди мрут у него как мухи – не от чахотки, а от пьянства…

Сеттембрини говорил не умолкая, и Ганс Касторп хохотал искренне и добродушно над этим неудержимым потоком злословия. Красноречие итальянца доставляло особенное удовольствие еще и потому, что он говорил абсолютно правильно, чисто и без всякого акцента. Слова соскакивали с его подвижных губ как-то особенно упруго и изящно, точно он творил их заново и сам наслаждался своим творчеством, меткими выражениями, ловкими оборотами, даже грамматическим словоизменением и производными формами, раскрываясь перед собеседниками с искренней общительностью и веселой обстоятельностью; причем казалось, что у него настолько зоркий ум и такая ясность духа, что он не может ошибиться хотя бы один раз.

– Как вы удивительно говорите, господин Сеттембрини, – заметил Ганс Касторп, – очень живо… Я не знаю даже, как определить…

– Пластично? Да? – отозвался итальянец и начал обмахиваться носовым платком, хотя было довольно прохладно. – Вот то слово, которого вы ищете. У меня пластичная манера говорить, вот что вы имели в виду. Однако стоп! – воскликнул он. – Что я вижу! Вон шествуют инфернальные вершители наших судеб. Какое зрелище!

Тем временем они успели дойти до поворота. Или их увлекли речи Сеттембрини, или здесь сыграло роль то, что они спускались, а может быть, им только казалось, что они забрели так далеко от санатория, – ибо дорога, по которой мы идем вперед, значительно длинней уже известной нам, – во всяком случае, они прошли обратный путь гораздо быстрее.

Сеттембрини был прав: внизу, через площадку, тянувшуюся вдоль задней стены санатория, действительно шествовали два врача, впереди – гофрат в белом халате, – они сразу узнали его по крутой линии затылка и ручищам, которыми он загребал, словно веслами, – и следом за ним – доктор Кроковский в черном халате, похожем на блузу. Кроковский поглядывал вокруг с тем большим чувством собственного достоинства, что заведенный порядок вынуждал его при служебных обходах держаться позади своего шефа.

– А, Кроковский! – воскликнул Сеттембрини. – Вон он шагает и несет в себе все тайны наших дам. Прошу обратить внимание на изысканную символичность его одежды. Он носит черное, намекая на то, что истинный объект его изучения – то, что скрывается в ночи. У этого человека в голове царит одна мысль, и мысль эта – грязная. Как же вышло, инженер, что мы еще совсем не говорили о нем? Вы с ним познакомились?

Ганс Касторп кивнул.

– Ну и что же? Я начинаю подозревать, что и он вам понравился?

– Право, не знаю, господин Сеттембрини. Наша встреча была слишком мимолетной. И потом, я не спешу судить о людях, я просто разглядываю их и думаю: «Так вот ты каков? Ну и ладно».

– Это некоторая леность ума, – ответил итальянец. – Вы должны составлять себе определенные мнения. Природа вам дала для этого глаза и рассудок. Вот вы нашли, что я говорю со злостью. Но если оно и так, то, быть может, у меня определенный педагогический умысел? У нас, гуманистов, почти у всех есть педагогическая жилка. Историческая связь между гуманизмом и педагогикой указывает, господа, и на их психологическую связь. Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей, ее просто нельзя отнять у него, ибо только он может передавать молодежи идеи человеческого достоинства и красоты. Некогда он сменил священника, который в сумрачные и человеконенавистнические эпохи имел дерзость руководить молодежью. Правда, с тех пор, господа, так и не сложился новый тип воспитателя. Мне кажется, что гимназия с гуманитарной программой – называйте меня отсталым, инженер, – но в основном, in abstracto[9 - Отвлеченно (лат.).], прошу понять меня правильно, я все же остаюсь ее сторонником…

Даже в лифте он продолжал развивать эту мысль, но двоюродные братья на втором этаже вышли. Он же поднялся до третьего, где, как рассказывал Иоахим, занимал комнатушку, выходившую во двор.

– У него, должно быть, нет денег? – спросил Ганс Касторп, провожавший Иоахима до его комнаты, где все было в точности так же, как и у Ганса Касторпа.

– Нет, – ответил Иоахим, – денег у него, вероятно, нет. Или ровно столько, чтобы оплачивать свое пребывание здесь. Его отец тоже был литератором, знаешь ли, и, кажется, даже дедушка.

– Ну, тогда понятно, – сказал Ганс Касторп. – А что, он в самом деле серьезно болен?

– Насколько я знаю, его состояние для жизни не опасно, но болезнь упорно не поддается излечению, и процесс возобновляется все вновь и вновь. Он болеет уже много лет, несколько раз уезжал отсюда, но приходилось опять вскоре возвращаться.

– Бедняга! А он, видимо, мечтает о работе! Притом невероятно разговорчив, так и перескакивает с одного на другое. По отношению к девушке он вел себя довольно дерзко, и мне на минуту стало неловко. Но то, что он говорил потом о человеческом достоинстве, было замечательно, прямо как на торжественном акте. Ты часто с ним проводишь время?

Острота мысли

Однако Иоахим отвечал на этот вопрос как-то сбивчиво и неясно. Он даже успел вынуть из лежавшего на столе красного кожаного футлярчика, обтянутого внутри бархатом, маленький градусник и сунул себе в рот заполненный ртутью кончик. Он держал градусник слева, под языком, отчего стеклянный инструмент торчал слегка вбок и кверху. Затем переоделся, надел башмаки и нечто вроде тужурки, взял со стола печатную таблицу, карандаш и книгу – русскую грамматику, – Иоахим изучал русский язык, ибо надеялся, по его словам, что

знание русского ему пригодится на службе, – и, оснащенный всем этим, вышел на балкон, где и расположился в шезлонге, лишь слегка прикрыв ноги одеялом из верблюжьей шерсти.

Да в нем и не было нужды: за последние четверть часа пелена облаков становилась все тоньше, и наконец прорвалось солнце – такое по-летнему жаркое и ослепительное, что Иоахиму пришлось защитить голову белым полотняным зонтиком, который с помощью хитроумного и несложного приспособления можно было прикреплять к подлокотнику шезлонга, меняя его наклон в зависимости от положения солнца. Ганс Касторп похвалил это приспособление. Ему хотелось узнать, что покажет градусник, и пока Иоахим держал его, он наблюдал за этой процедурой, осмотрел и меховой мешок, обнаруженный им в углу лоджии (Иоахим пользовался им в холодные дни); затем оперся о балюстраду балкона и стал глядеть в сад, где находилась общая галерея для лежания; там оказалось немало больных, они лежа читали, писали, болтали. Впрочем, ему была видна только часть галереи и человек пять пациентов.

– Сколько же времени нужно держать градусник? – спросил Ганс Касторп и обернулся.

Иоахим поднял семь пальцев.

– Но они, наверное, уже прошли – эти семь минут?

Иоахим покачал головой. Через некоторое время он вынул градусник изо рта, взглянул на него и сказал:

– Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно. И я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница – одна минута и целых семь, при том, что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно.

– Ты говоришь «в сущности». Но ты так говорить не можешь, – возразил Ганс Касторп. Он сидел боком на перилах, белки его глаз покраснели. – Время вообще не «сущность». Если оно человеку кажется долгим, значит, оно долгое, а если коротким, так оно короткое, а насколько оно долгое или короткое в действительности – этого никто не знает. – Он не привык философствовать, но

сейчас испытывал потребность порассуждать.

– Почему же? – возразил Иоахим. – Мы все-таки измеряем его. У нас есть часы и календари, и когда прошел месяц, он прошел и для тебя, и для меня, и для всех нас.

– Но ты послушай меня, – остановил его Ганс Касторп и даже поднес указательный палец к помутневшим глазам. – Значит, длина одной минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру?

– Одна минута тянется… она длится ровно столько, сколько нужно секундной стрелке, чтобы обежать свой круг.

– Но ведь это время может быть самым различным для нашего ощущения. И фактически… я подчеркиваю: фактически, – повторил Ганс Касторп и так сильно нажал указательным пальцем на свой нос, что совсем пригнул его кончик к губе, – движение стрелки есть движение в пространстве, не так ли? Нет, подожди, постой! Значит, мы измеряем время пространством. Но это все равно, как если бы мы захотели измерять пространство временем, – а так его измеряют только совершенно необразованные люди. От Гамбурга до Давоса двадцать часов поездом. А пешком сколько? А в мыслях? Меньше секунды!

– Послушай, – заметил Иоахим, – что это на тебя нашло? Или здешний воздух подействовал?

– Молчи! У меня сегодня мысль работает необычайно остро. Что же такое время? – спросил Ганс Касторп и так решительно отогнул в сторону кончик носа, что кровь от него отхлынула и он побелел. – Может быть, ты объяснишь мне? Ведь пространство мы воспринимаем нашими органами чувств, зрением и осязанием. Хорошо. Ну а каким же органом мы воспринимаем время? Может быть, ты мне ответишь? Видишь, вот ты и влип. Но как можем мы что-либо измерять, если, говоря по правде, не можем назвать ни одного, ну ни одного его свойства! Мы говорим: время проходит. Хорошо, пусть себе проходит. Но чтобы измерять его… подожди! Чтобы быть измеряемым, оно должно протекать равномерно, а где это сказано, что оно так и протекает? В восприятиях нашего сознания этого нет, мы лишь допускаем равномерность для порядка, и наши измерительные единицы – просто условность. Так вот, разреши мне…

– Хорошо, – прервал его Иоахим. – Значит, условность и то, что мой градусник показывает на пять черточек больше нормы? А из-за этих пяти лишних делений я должен здесь прозябать и не могу служить в армии, это же факт, хоть и отвратительный!

– У тебя 37,5?

– Она уже начала понижаться. – Иоахим занес температуру в табличку. – Вчера вечером было почти 38, в результате твоего приезда. У всех, к кому приезжают гости, она повышается. И все-таки твой приезд – это благо.

– Я сейчас уйду, – сказал Ганс Касторп. – У меня в голове еще пропасть мыслей о времени, могу сказать – целый комплекс. Но я не хочу тебя волновать, у тебя и так слишком много черточек. Я этих мыслей не забуду, и мы потом к ним вернемся, может быть, после завтрака. Когда настанет время завтрака, ты позовешь меня. Сейчас я тоже пойду полежу, меня ведь от этого, слава Богу, не убудет. – И он прошел мимо стеклянной стенки на собственный балкон, где и для него были приготовлены шезлонг и столик, принес из уже аккуратно прибранной комнаты книжку «Ocean steamships» и свой пушистый мягкий плед в темно-красную и зеленую клетку и улегся.

Однако очень скоро ему пришлось раскрыть зонтик: здесь, на балконе, солнце жгло нестерпимо. Но лежать было необыкновенно удобно, Ганс Касторп тут же отметил это с удовольствием – он не помнил, чтобы ему так приятно лежалось в каком-нибудь шезлонге.

Кресло это, несколько старомодной формы – явная стилизация, ибо оно, бесспорно, было новым, – состояло из полированной рамы – имитации красного дерева – и матраса, обитого какой-то мягкой материей наподобие ситца; матрас, вернее – три сложенных вместе пухлых перины, покрывал весь шезлонг и свешивался со спинки. Кроме того, в изголовье висел на шнурке не слишком мягкий и не слишком жесткий валик в полотняном вышитом чехле, и на него было особенно удобно откидывать голову. Ганс Касторп оперся локтем на широкий плоский подлокотник и, щурясь, спокойно поглядывал вокруг; он не чувствовал потребности развлекать себя книжкой «Ocean steamships». Перед ним лежал суровый и скудный пейзаж, но он был залит солнечным светом и, обрамленный аркой лоджии, казался вставленной в раму картиной. Ганс Касторп задумчиво созерцал ее. Вдруг он что-то вспомнил и нарушил тишину, громко спросив:

– Она ведь карлица, эта, которая подавала нам за первым завтраком?

– Тсс… – остановил его Иоахим. – Тише. Да, карлица. А что?

– Ничего. Мы просто с тобой об этом еще не говорили.

И опять отдался своим думам. Когда он лег, было уже десять часов. Прошел час. Обыкновенный час, не длинней и не короче. Но вот он истек, и по дому и саду разнесся звук гонга, сначала далекий, потом все ближе, потом опять удаляясь.

– Завтрак, – сказал Иоахим, и было слышно, как он встает.

Ганс Касторп также встал и вошел в комнату, чтобы привести себя в порядок. Двоюродные братья встретились в коридоре и пошли вниз. Ганс Касторп сказал:

– Ну, лежалось мне отлично. Что это у вас за шезлонги? Если тут можно купить такие, я увезу один в Гамбург, в нем лежишь как в раю. Или ты предполагаешь, что они сделаны по особому заказу Беренса?

Но Иоахим этого не знал. Они разделись и вторично вошли в столовую, где трапеза была уже в самом разгаре. Всюду белело молоко: у каждого прибора стоял большой, по меньшей мере полулитровый стакан молока.

– Нет, – сказал Ганс Касторп, когда он снова уселся между портнихой и англичанкой и покорно развернул салфетку, хотя чувствовал в желудке тяжесть еще после первого завтрака. – Нет, – сказал он, – да простит меня Бог, но молока я вообще не пью, а тем более сейчас. Нельзя ли получить портер? – И он прежде всего вежливо и мягко обратился с этим вопросом к карлице. Но портера не оказалось. Однако она обещала принести кульм бахского пива, и принесла. Густое, черное, с коричневой пеной, оно вполне заменяло портер. Ганс Касторп жадно пил его из высокого полулитрового стакана, закусывая холодным мясом и гренками. Снова подали овсяную кашу и в изобилии масло и овощи. Но он только поглядывал на них, ибо есть был уже не в состоянии. Рассматривал он и публику за столами – лица уже не сливались в одно и не казались одинаковыми; начали выделяться отдельные фигуры.

Его стол был занят целиком, кроме одного места на конце, против него, – оказывается, оно предназначалось для врача. Ибо врачи, когда позволяло время, участвовали в общих трапезах, причем садились то за один стол, то за другой; поэтому в конце каждого одно место оставалось свободным. Сейчас отсутствовали оба; кто-то сообщил, что у них операция. Снова явился молодой человек с усами, опустил подбородок на грудь и уселся с озабоченным и замкнутым видом. Оказалась на своем месте и тощая блондинка, она так усердно загребала ложкой простокваш у, как будто, кроме этого, есть было нечего. Рядом с ней Ганс Касторп увидел маленькую веселую старушку, которая обращалась по-русски к молчаливому молодому человеку, а он озабоченно смотрел на нее и только кивал головой, причем так кривил лицо, точно держал во рту что-то очень невкусное. Против него, по ту сторону старухи, сидела еще одна молодая девушка – и прехорошенькая: цветущий румянец, высокая грудь, волнистые темно-каштановые, красиво причесанные волосы, круглые карие детские глаза и маленький рубин на прекрасной руке. Она часто смеялась и тоже говорила по-русски, только по-русски. Ее звали Марусей, как узнал Ганс Касторп. Потом он заметил, что, когда она болтала и смеялась, Иоахим со строгим видом опускал глаза.

Сеттембрини вошел через боковую галерею и, подкручивая усы, проследовал на свое место в конце стола, стоявшего под углом к столу Ганса Касторпа. Когда он сел, его соседи звонко рассмеялись; вероятно, он отпустил какую-нибудь дерзость. Узнали Ганса Касторпа и члены «Союза однолегочных». Гермина Клеефельд с глупым видом протискалась на свое место за столом перед одной из дверей на веранду и приветствовала губастого юнца, перед тем столь неприлично задиравшего свою куртку. Фрейлейн Леви, с лицом цвета слоновой кости, сидела рядом с толстой пятнистой Ильтис у поперечного стола, справа от Ганса Касторпа; их окружали еще не ведомые ему люди.

– Вон твои соседи, – вполголоса сказал Иоахим, наклонившись к двоюродному брату… Супруги прошли вплотную мимо Ганса Касторпа к последнему столу в том же ряду, это был «плохой» русский стол, где какая-то чета с некрасивым мальчиком уже поглощала огромные порции овсяной каши. Сосед оказался человеком тщедушного сложения, его серые щеки ввалились, на нем была кожаная куртка, на ногах – неуклюжие фетровые сапоги с застежками. Его жена, тоже худенькая, но изящная, в шляпе с развевающимися перьями, просеменила к столу в юфтяных сапожках с высокими каблучками; ее шею обвивало грязноватое боа из птичьих перьев. Ганс Касторп рассматривал обоих с неприсущей ему бесцеремонностью, он сам почувствовал в ней что-то грубое; но именно эта грубость почему-то вдруг доставила ему удовольствие. Его взгляд

был тупым и настойчивым. Когда в ту же минуту застекленная дверь слева захлопнулась, так же как и сегодня утром, со звоном и дребезгом, он не вздрогнул, а лишь сделал ленивую гримасу; все же он хотел потом повернуть голову в сторону двери, но вдруг решил, что это требует усилий и не стоит труда. Поэтому случилось так, что он и на этот раз не выяснил, кто же так неаккуратно обращается с дверью.

А причина его странного состояния крылась в том, что выпитое за завтраком пиво, обычно лишь весьма умеренно оживлявшее его, сегодня совершенно оглушило сознание и сковало тело, точно Ганса Касторпа ошарашили ударом по лбу. Веки у него налились свинцом, язык плохо слушался, и когда молодой человек из учтивости вздумал поболтать с англичанкой, ему было трудно выразить самую простую мысль; чтобы перевести взгляд с одного на другое – и то требовалось усилие, а в довершение всего и лицо у него препротивно разгорелось, в точности как вчера; ему чудилось, будто щеки его распухли от жара, он дышал тяжело, сердце стучало в груди, словно молот, обернутый чем-то мягким, и если все это не слишком его мучило, то лишь потому, что сознание его было затуманено, точно он сделал несколько вдыханий хлороформа. И когда доктор Кроковский все же пришел завтракать и уселся за свой прибор как раз напротив Ганса Касторпа, молодой человек заметил это словно сквозь сон, хотя Кроковский не раз пристально поглядывал на него, в то же время болтая по-русски с дамами, сидевшими по его правую руку; причем и цветущая Маруся и тощая простоквашница покорно и стыдливо опускали глаза. Все же Ганс Касторп держался вполне пристойно, предпочитая молчать, ибо язык не повиновался ему, и даже как-то особенно корректно обходился с ножом и вилкой. Но вот кузен кивнул и поднялся; он тоже встал, поклонился своим сотрапезникам, которых видел точно сквозь туман, и, особенно твердо ступая, последовал за Иоахимом.

– Когда же нужно опять лежать на воздухе? – спросил он, едва они вышли из санатория. – Насколько я могу судить – это пока здесь лучшее. Мне хотелось бы опять очутиться в моем замечательном шезлонге. Мы далеко пойдем гулять?

Лишнее слово

– Нет, – ответил Иоахим, – далеко мне ходить нельзя. В этот час я обычно спускаюсь ненадолго вниз и, если у меня есть время, иду через деревню и дохожу до местечка. Видишь людей и магазины, делаешь покупки. Потом лежишь опять час перед обедом, – да, полагается до четырех, – так что еще належишься, не беспокойся.

Они спустились по освещенной солнцем подъездной аллее, перешли мост над потоком и узкие рельсы, все время имея перед глазами горные вершины правого склона: Малый Шьяхорн, Зеленые башни, Дорфберг; Иоахим называл их одну за другой. На той стороне, несколько выше, лежало окруженное стеною кладбище деревни Давос. Иоахим тоже указал на него своей горной палкой. И они наконец добрались до главной улицы, которая тянулась по скалистому выступу, образовавшему над долиной как бы первый этаж.

Деревней это, собственно говоря, трудно было назвать: во всяком случае, от нее осталось одно имя. Курорт поглотил ее, он непрерывно разрастался, почти достигая устья долины, и та часть поселка, которую именовали деревней, незаметно переходила в так называемый Давос-курорт, мало чем от нее отличавшийся. Гостиницы и пансионы со множеством крытых веранд, балконов и галерей для лежания, а также частные домики, где сдавались комнаты, тянулись по обе стороны дороги; кое-где виднелись и новостройки; местами участки еще пустовали, и глазам открывались луга в долине…

Ганс Касторп, испытывавший потребность в привычном любимом возбуждении, опять закурил сигару и, вероятно, благодаря выпитому пиву, к своему невыразимому удовольствию снова начал по временам ощущать вожделенный аромат, – правда, лишь изредка и слабо, надо было сделать некоторое нервное усилие, чтобы испытать хотя бы намек на привычное удовольствие, и все-таки во рту оставался мерзкий привкус кожи. Но он не мог преодолеть свою вялость и, сделав несколько попыток вернуть былое наслаждение, то ускользавшее от него, то дразнившее издали смутным намеком, в конце концов устал и с отвращением бросил сигару. Несмотря, однако, на внутреннюю скованность, он счел долгом вежливости поддерживать разговор и старался для этого вспомнить все те замечательные «мысли о времени», которые ему так хотелось высказать перед завтраком. Но вдруг понял, что начисто забыл весь «комплекс», и относительно проблемы времени в его голове не осталось ни единой, даже самой ничтожной, мыслишки. Вместо того он начал говорить о телесных явлениях и притом как-то странно.

– Когда тебе опять надо мерить температуру? – спросил он. – После обеда? Это правильно. Тогда организм особенно деятелен и градусник все покажет правильно. Послушай-ка, ведь предложение Беренса, чтобы я тоже себе мерил, это была шутка? Правда? И Сеттембрини расхохотался, ведь это же бессмысленно. Да у меня и градусника нет.

– Ну, – сказал Иоахим, – за этим дело не станет. Возьми да купи. Они тут везде продаются, чуть не в каждом магазине.

– Зачем же! Нет, лежать – пожалуйста, лежать я буду вместе с вами охотно, но измерять температуру – это для гостя уже слишком, этим уж занимайтесь вы тут наверху. И почему, – продолжал Ганс Касторп, прижав, словно влюбленный, обе руки к груди, – почему у меня все время так колотится сердце… Это меня очень беспокоит, и давно. Видишь ли, сердцебиение бывает у человека, когда его ждет какая-нибудь особенная радость или когда он пугается, – словом, при сильных душевных движениях, верно? Но когда сердце начинает колотиться ни с того ни с сего, так сказать, по собственной инициативе, в этом, пойми меня правильно, есть что-то жуткое, точно тело существует само по себе и у него нет связи с душой, ну примерно как у трупа, но ведь труп тоже не мертв – какое там! – напротив, он ведет весьма оживленное существование, и тоже по собственному почину: еще вырастают волосы и ногти, да и вообще, как мне говорили, начинается пребойкая деятельность – всякие там процессы, физические и химические.

– Что это за выражения, – сказал Иоахим со сдержанным укором. – Пребойкая деятельность! – Может быть, он этим хотел слегка отомстить за сегодняшнее упоминание о бубенцах.

– Но ведь так оно и есть! Это действительно весьма бойкая деятельность! Почему ты обижаешься? – спросил Ганс Касторп. – Впрочем, я вспомнил об этом лишь мимоходом. И хотел я сказать только одно: когда тело начинает жить самостоятельно, вне связи с душой, и воображать о себе невесть что, как при таком беспричинном сердцебиении, – это жутко и мучительно. Вот и ищешь формальной причины, какого-нибудь душевного движения, которое могло его вызвать. Н у, внезапного чувства радости или страха, послужившего бы ему оправданием, что ли, – по крайней мере так я воспринимаю это. Я могу говорить только о себе.

– Да, да, – согласился Иоахим, вздохнув, – словно у тебя лихорадка, и притом в теле начинается этакая «пребойкая деятельность», если воспользоваться твоим выражением; тогда, может быть, невольно, начинаешь искать какого-либо душевного движения, как ты говоришь, которое хоть сколько-нибудь разумно объяснило бы эту деятельность. Но что за неприятную чепуху мы несем, – сказал он дрогнувшим голосом и вдруг умолк; Ганс Касторп в ответ только пожал плечами, и притом совершенно так же, как вчера это сделал Иоахим, удивив его столь непривычным жестом.

Они шли некоторое время молча. Наконец Иоахим спросил:

– Как тебе понравилась здешняя публика? Я имею в виду наших соседей по столу.

Ганс Касторп придал себе равнодушно-скептический вид.

– Ну, – заметил он, – я бы не сказал, что они очень интересны. За другими столами сидят, вероятно, более интересные люди; впрочем, может быть, только так кажется. Фрау Штёр следовало бы вымыть голову, у нее ужасно жирные волосы. А эта Мазурка, или как ее там зовут, представляется мне довольно-таки глуповатой. Так хихикает, что вечно сует в рот платок.

Иоахим невольно усмехнулся этому искажению имени.

– Мазурка? Великолепно! – воскликнул он. – Но ее зовут Маруся, с твоего разрешения – все равно что Мария. Да, она действительно чересчур шаловлива, – продолжал он, – хотя имела бы все основания быть более серьезной, она очень больна.

– По ней не скажешь, у нее цветущий вид. Как раз на туберкулезную и слабогрудую она совсем не похожа! – шутливо заметил Ганс Касторп и бросил двоюродному брату лукаво-многозначительный взгляд; однако Иоахим не ответил ему таким же взглядом. Его загорелое лицо пошло пятнами, как бывает обычно с загорелыми лицами, когда они бледнеют, и губы как-то горестно скривились; это придало его лицу выражение, которое почему-то испугало Ганса Касторпа и заставило тотчас переменить тему разговора: он принялся расспрашивать о других больных, причем старался как можно скорее позабыть и Марусю, и выражение лица своего двоюродного брата. Это ему удалось вполне.

Оказалось, что англичанку, пившую чай из шиповника, зовут мисс Робинсон. Портниха вовсе не портниха, а учительница кенигсбергской казенной женской гимназии, вот почему она говорит так правильно. Ее зовут фрейлейн Энгельгарт. Что касается веселой старушки, то и сам Иоахим не знает, как ее зовут, хотя прожил здесь наверху уже довольно долго. Во всяком случае, она приходится двоюродной бабушкой той молодой девице, которая ест простоквашу, – старая дама живет с ней в санатории. Но самый больной из всех сидящих за их столом – это доктор Блюменколь, Лео Блюменколь из Одессы, ну, тот молодой человек с усиками и озабоченным замкнутым лицом. Он здесь наверху уже много лет…

Тротуар, по которому они теперь шагали, был вполне городским, ибо они вступили на главную улицу этого поистине интернационального местечка. Им попадались фланирующие курортники, по большей части молодежь: кавалеры в спортивных костюмах и без шляп, дамы – тоже без шляп и в белых юбках. Звучала русская и английская речь. Справа и слева тянулись нарядные витрины, и Ганс Касторп, чье любопытство упорно боролось с мучительной усталостью, заставлял себя разглядывать их; он долго простоял перед магазином модной мужской одежды и вынужден был признать, что выставленные товары – на должной высоте.

Затем они увидели ротонду с крытой галереей, в которой играл оркестр. Это был курзал. На нескольких теннисных кортах шла игра. Долговязые, тщательно выбритые юноши в фланелевых брюках с безукоризненно отутюженной складкой, в башмаках на резиновой подошве и в рубашках с закатанными рукавами играли против загорелых, одетых в белое девушек, которые на бегу подпрыгивали, вытягиваясь в солнечных лучах, чтобы отбить высоко в воздухе белый, словно меловой, мяч. Аккуратные спортивные площадки были точно осыпаны мучной пылью. Кузены уселись на свободную скамью, чтобы посмотреть на игру и покритиковать игроков.

– Ты здесь, вероятно, не играешь? – спросил Ганс Касторп.

– Мне ведь нельзя, – ответил Иоахим. – Нам велено как можно больше лежать… Сеттембрини уверяет, что мы проводим всю нашу жизнь в горизонтальном положении, поэтому являемся, так сказать, горизонталами… По-моему, довольно плоская шутка. Играют здоровые или те, кто не подчиняется запрету. Впрочем, играют они не всерьез… больше ради костюма… А что касается запрета, то здесь нарушаются многие запреты, – больные играют, понимаешь ли, даже в

покер, а в некоторых гостиницах и в petits chevaux[10 - Лошадки (фр.) – азартная игра.], хотя есть указание врачей, что это самое вредное. Но некоторые после вечерней проверки еще бегут вниз и понтируют. Принц, пожаловавший Беренсу звание гофрата, тоже всегда так делал.

Однако Ганс Касторп едва ли слышал Иоахима. Он сидел открыв рот, так как почти не мог дышать носом, хотя никакого насморка у него не было. Его сердце колотилось не в такт музыке, звучавшей из ротонды, и это было почему-то мучительно. Продолжая ощущать непонятный разнобой и беспорядок в себе, он чуть было не задремал, но тут Иоахим напомнил ему, что пора домой.

Возвращаясь в санаторий, они почти все время молчали. Ганс Касторп даже несколько раз споткнулся на ровной дороге и, горестно усмехнувшись, покачал головой. Хромой поднял их на лифте. Они расстались перед дверью тридцать четвертого номера, обменявшись коротким «до свидания». Ганс Касторп проследовал через свою комнату на балкон, где сразу же упал в шезлонг и, даже не приняв более удобной позы, немедленно погрузился в тяжелое полузабытье, не переставая мучительно ощущать учащенное биение своего сердца.

Ну конечно, женщина

Сколько это продолжалось, он не знал. В положенное время раздались звуки гонга – еще не призыв к обеду, а лишь напоминание о том, что пора готовиться к нему; Ганс Касторп это знал и остался лежать, пока металлический звон не прозвучал вторично, то нарастая, то удаляясь. Когда Иоахим зашел за ним, Ганс Касторп хотел было переодеться. Однако кузен удержал его, заявив, что уже некогда. Он ненавидел и презирал всякие опоздания. Как можно, говорил Иоахим, добиться чего-нибудь и выздороветь, чтобы служить в армии, если мы настолько безвольны, что не можем даже вовремя являться к столу? Тут он, конечно, был прав, и Гансу Касторпу оставалось только заявить, что хотя он не болен, но ему почему-то ужасно хочется спать. Он лишь поспешно вымыл руки, и они спустились в столовую – в третий раз.

Поток больных вливался через два входа, а также через распахнутые двери на веранду на том конце зала, и скоро все семь столов оказались занятыми, будто люди вовсе и не вставали после завтрака. Таково было по крайней мере

впечатление, возникшее у Ганса Касторпа, – правда, довольно фантастическое и противное разуму, однако его затуманенный мозг все же не мог на миг ему не поддаться, и оно даже понравилось ему; ибо он несколько раз пытался во время обеда снова вызвать его в своей душе, и это удавалось, причем иллюзия действительности была полной. Веселая старушка опять что-то лопотала на своем непонятном языке сидевшему от нее наискось доктору Блюменколю, и тот слушал ее с озабоченной миной. Ее тощая внучатная племянница наконец ела какое-то другое кушанье – не простоквашу, а, как выяснилось, ячменное пюре, которое «столовые девы» подавали в глубоких тарелках; однако она проглотила лишь несколько ложек и больше к нему не прикоснулась. И опять красивая Маруся совала в рот пахнувший апельсинными духами носовой платочек, чтобы заглушить приступы неудержимого смеха. Мисс Робинсон читала те же написанные округлым почерком письма, которые уже читала сегодня утром. Она, видимо, не знала ни слова по-немецки и знать не хотела. Иоахим, который старался держаться по-рыцарски, сказал ей что-то по-английски насчет погоды, и она, с набитым ртом, односложно ему ответила, а затем снова погрузилась в молчание. Что касается фрау Штёр, появившейся в своей неизменной шотландской блузе, то выяснилось, что сегодня в первую половину дня она была на врачебном осмотре; рассказывая об этом, она вульгарно жеманилась и то и дело улыбалась, вздергивая верхнюю губу и открывая заячьи зубы. В верхней части правого легкого, жаловалась она, у нее хрипы, кроме того, звук под левой лопаткой очень укорочен, и «старикан» сказал, что она должна пробыть здесь еще пять месяцев.

По своей невоспитанности она называла гофрата Беренса «стариканом». Она возмущалась тем, что «старикан» сидит не за их столом, хотя согласно очередному «турне» (она, видно, хотела сказать «туру») сегодня вечером должен был сидеть именно с ними, а он опять пристроился за столом слева (гофрат Беренс действительно сидел там, сложив перед тарелкой свои непомерные ручищи). И понятно – почему: там место «этой коровы», фрау Заломон из Амстердама, а она даже в будни является к столу декольтированная, и «старикану», должно быть, это очень нравится; но она, фрау Штёр, удивляется, к чему это, ведь во время осмотра он может любоваться ее прелестями сколько угодно. Потом она принялась рассказывать взволнованным шепотом, что вчера вечером в общей галерее для лежания, – знаете, той, на крыше, – погасили свет и, конечно, по причине, которую фрау Штёр определила как весьма «прозрачную». «Старикан» это заметил и так разбушевался, что во всем доме было слышно. Но виновного, разумеется, опять не нашли, хотя вовсе не нужно учиться в университете, чтобы угадать, кто это: конечно, опять капитан Миклосич из Бухареста, ему в дамском обществе никогда не бывает

достаточно темно, он человек совершенно невоспитанный, хотя и носит корсет, – это, по правде говоря, просто хищный зверь, – да, хищный зверь, повторила фрау Штёр сдавленным голосом, причем на лбу и на верхней губе у нее выступили капли пота. В каких отношениях с ним состоит жена генерального консула Вурмбрандта из Вены – известно решительно всем и в деревне, и в поселке, так что едва ли тут можно говорить о загадочности этих отношений. Мало того что капитан иной раз прямо с утра заявляется в комнату консульши, когда она еще лежит в постели, и присутствует при всех подробностях ее туалета, – в прошлый вторник он изволил выйти из комнаты Вурмбрандтши только в четыре часа утра.

– Сиделка молодого Франца из девятнадцатого номера, у которого произошла какая-то неудача с пневмотораксом, сама лично на него наскочила, она со стыда попала не в ту дверь и очутилась в комнате прокурора Параванта из Дортмунда. – Потом фрау Штёр еще долго распространялась относительно какого-то «космического заведения» внизу в местечке, где она покупает эликсир для зубов, а Иоахим слушал все это, уставившись в свою тарелку.

Обед тоже был приготовлен отлично, и все подавалось необычайно щедрыми порциями. Этот обед, включая питательный суп, состоял по меньшей мере из шести блюд. За рыбой последовало вкусное мясное блюдо с разнообразным гарниром, затем овощи, жареная птица, мучное, не уступавшее поданному вчера вечером, и наконец сыр и фрукты. Каждым блюдом обносили дважды – и не напрасно. Больные, сидевшие за всеми семью столами, накладывали себе полные тарелки и усердно все съедали, – здесь царил прямо-таки львиный аппетит, какой-то неистовый голод, и наблюдать за обедающими можно было бы даже с удовольствием, если бы в этом усердном насыщении не сквозило что-то жуткое и даже отталкивающее. Такое чувство вызывали не только самые бодрые пациенты – они оживленно болтали и бросались хлебными шариками, – но и тихие и угрюмые, которые в перерывах подпирали голову руками и сидели, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Какой-то недоросток за столом слева, по виду еще школьник, с короткими руками и в круглых очках, мелко изрезал все, что навалил себе на тарелку, так что образовалась каша и мешанина из кусков; затем склонился над ней и начал жадно поедать ее, засовывая время от времени салфетку за стекла очков, чтобы протереть глаза, и неизвестно было, что он вытирает – пот или слезы.

Во время главной трапезы – обеда – два происшествия привлекли внимание Ганса Касторпа, поскольку это было возможно при его состоянии. Во-первых,

кто-то снова грохнул застекленной дверью. В это время подавали рыбу. Ганс Касторп досадливо вздрогнул и с решимостью раздражения обещал себе на этот раз во что бы то ни стало подстеречь виновного. Он не только подумал, он за явил о своем намерении вслух, столь искренне было его возмущение. «Я должен выяснить, кто это!» – прошептал он с чрезмерной горячностью, так что и мисс Робинсон и учительница удивленно на него взглянули. Притом он повернулся всем корпусом влево и вдруг широко раскрыл глаза с покрасневшими белками.

Виновницей оказалась дама, вот она идет через зал, молодая женщина, скорее молодая девушка, в белом свитере и пестрой юбке, рыжевато-белокурые волосы просто заплетены в косы и уложены вокруг головы. Гансу Касторпу почти не удалось рассмотреть ее профиль. Неслышно, словно крадущейся походкой, что странно противоречило ее шумному появлению, и слегка вытянув вперед шею, направлялась она к крайнему столу слева, стоявшему перпендикулярно к двери на веранду: это был так называемый «хороший» русский стол; одну руку она держала в кармане вязаной кофточки, обтягивающей ее фигуру, а другую, поправляя волосы и как бы поддерживая их, поднесла к затылку. Ганс Касторп взглянул на эту руку. Он знал толк в человеческих руках, относился к ним требовательно и со вниманием и, знакомясь с новыми людьми, прежде всего смотрел на их руки. Эта рука, поддерживавшая волосы на затылке, была не очень-то дамской, не такая холеная и изысканная, как руки женщин из тех общественных кругов, в которых вращался Ганс Касторп; в этой руке, довольно широкой, с короткими пальцами, чувствовалось что-то наивное, детское, что-то напоминавшее руку школьницы; кое-как подстриженные ногти, видимо, не знали маникюра, они были тоже как у школьницы, а вокруг них кожа чуть шершавилась, и можно было заподозрить, что их владелица страдает невинным пороком – грызет заусенцы. Впрочем, Ганс Касторп мог об этом только догадываться – дама была от него все же слишком далеко. Опоздавшая кивнула своим соседям, села за стол, спиной к залу, рядом с доктором Кроковским, который занимал председательское место за этим столом, и, все еще придерживая волосы на затылке, повернула голову, через плечо окидывая взглядом публику; Ганс Касторп мельком заметил, что скулы у нее широкие, а глаза узкие… И когда он это увидел – смутное воспоминание о чем-то или о ком-то легко коснулось его словно мимоходом…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Океанские пароходы» (англ.).

2

Пошли (англ.).

3

«Оба» (фр.).

4

Бесплатно (лат.).

5

Туберкулез легких (лат.).

6

О Боже! (ит.)

7

«Привет тебе, о Сатана, о Мятежник, о мстительная сила Разума» (ит.).

8

Слишком роскошный, обильный (англ.).

9

Отвлеченно (лат.).

10

Лошадки (фр.) – азартная игра.

Купить: https://tellnovel.me/tomas-mann/volshebnaya-gora-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити